Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 12

2017

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРОЗА

Сейран СЕХАВЕТ. **Мир дому твоему, или Завещание.** *Рассказ* 12
Рафик ТАГИ. *Рассказы* 29
Ариф ГУСЕЙНОВ. **Записки пунктиром** 75
Ширин МАНАФОВ. *Юморески* 112

ПОЭЗИЯ

Молла Панах ВАГИФ. *Стихи* 3
Хуршудбану НАТАВАН. *Стихи* 9
Сиявуш МАМЕДЗАДЕ. *Стихи* 25
Ляман БАГИРОВА. **Венок сонетов** 70
Елена АНДРЕЕВА. *Стихи* 105

ПУБЛИЦИСТИКА

Эмиль АГАЕВ. **Как я оказался однажды Дедом Морозом** 21
БахытжанКАНАПЬЯНОВ. **Арсений Тарковский** 66
Александр ХАКИМОВ. **Качели бессмертия**. Эссе 102

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН» ЗА 2017 ГОД 129

Главный редактор – **Солмаз ИБРАГИМОВА**

Зам.главного редактора – **Елизавета КАСУМОВА**
Ответственный секретарь – **Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ**
Отдел прозы – **Надир АГАСИЕВ**
Отдел поэзии – **Алина ТАЛЫБОВА**
Отдел публицистики – **Ровшэн КАФАРОВ**
Отдел подписки и рекламы – **Джамиля ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49**
Литсотрудники – **Ниджат МАМЕДОВ, Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА**
Корректор – **Анна КУЗЁМКИНА**

Редакционная коллегия: ***Почетный аксакал «Л.А.» Сиявуш МАМЕДЗАДЕ,***
Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ

Литконсультант – **Натиг РАСУЛЗАДЕ**

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве
печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53
Электронный адрес: litaz1931@gmail.com
Тел: 493-86-04

Сдано в печать 23.11.2017г.
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16
Печать офсетная, 8.25 печ. л.
Тираж 400
Отпечатано в типографии «OL»NKPT MMC
Тел.: 497-36-23
Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Ранее опубликованные произведения редакцией не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «OL»NKPT MMC

© «Литературный Азербайджан», 2017 г.

МОЛЛА ПАНАХ ВАГИФ – 300

МОЛЛА ПАНАХ ВАГИФ – ДИПЛОМАТ И ПОЭТ

Молла Панах Вагиф – первый визирь Гарабахского ханства, известный политический и общественный деятель Азербайджана XVIII века, один из выдающихся поэтов Азербайджана, создатель новой, близкой к народному творчеству, реалистической школы, оказавшей огромное влияние на дальнейшее развитие азербайджанской поэзии.

Молла Панах Вагиф родился 6 апреля 1717 года в селе Салахлы ныне Газахского района (ныне Газахский район) в крестьянской семье. Получил хорошее образование, знал персидский и арабские языки, музыку, архитектуру, математику. Учёность Вагифа получила известность далеко за пределами его Азербайджана. В народе сложилась поговорка: «Не всякий, кто учится, может стать Моллой Панахом Вагифом».

Вагиф занимался преподавательской деятельностью в медресе при мечети (именно с этим связана приставка к имени поэта «молла») в городе Газах, а затем в Гарабахе. Слава поэта дошла до правителя Гарабаха Ибрагим Халил-хана, и тот пригласил Вагифа во дворец и назначил визирем. На этом посту Вагиф проявил незаурядные способности дипломата. При его участии был заключён оборонительный союз между Гарабахом, Грузией, Талышским и Эриванским ханствами против Ирана. Он же был инициатором переговоров с Россией, имевших целью заручиться её поддержкой. Вагиф серьезно изучал астрономию и с успехом использовал свои знания как на практике, для предсказаний затмений и календарных выкладок, так и для астрологических изысканий. Достаточно хорошо Вагиф владел и практической математикой и использовал эти знания при строительстве ханского дворца, жилых домов и крепостных стен в Шуше. Обладая обширной библиотекой, Вагиф непрерывно занимался самообразованием. Он заметно выделялся своей ученостью среди дворцовой знати и интеллигенции Шуши и оправдал свой поэтический псевдоним Вагиф («Сведущий»).

Произведения поэта были собраны впоследствии по отдельным записям или из уст певцов. Первый сборник стихов Вагифа был издан в 1856 году Мирзой Юсифом в Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск). Затем Мирза Фатали Ахундов собрал богатый материал и передал его видному востоковеду Адольфу Берже, который издал их в 1867 году в Лейпциге. Одновременно творчеством Вагифа заинтересовался составляющий большую антологию азербайджанской поэзии муфтий Закавказья Гусейн Эфенди Гаибов, потомок известного поэта Видади, близкого друга Вагифа. Хотя Гаибов свои рукописи не опубликовал, его материалами до сих пор пользуются многие литературоведы. Наконец, последний раз в дореволюционный период его произведения были изданы редактором газеты «Новая жизнь» Гашим-беком Везировым. После революции для сбора и публикации сочинений Вагифа очень много сделал Салман Мумтаз. Первое наиболее полное их собрание было издано в 1945 году (русский перевод 1949 г.). В 1982 году на могиле поэта в Шуше был воздвигнут мавзолей.

В своей поэзии Вагиф использует все классические формы восточной поэзии. Однако особое место занимает поэтическая форма – гошма, взятая им из народного творчества. Язык этих стихов предельно приближен к народному. До минимума сведено заимствование арабских и фарсидских слов. Вагиф вырос в ашугской среде и прекрасно знал вкусы и потребности аудитории.

Увлечение этой поэтической формой положительно повлияло на содержание и язык стихов классических форм. Любовь в стихах Вагифа окончательно освобождается от суфийско-мистической символики, присущей в какой-то степени большинству азербайджанских средневековых поэтов. Поэт воспевает наслаждение жизнью, красоту возлюбленной, горечь разлуки и радости встреч. К концу жизни в творчестве поэта начинают преобладать глубоко философские, обличительные стихи о смысле жизни и бренности мира.

***

Я правду искал, но правды снова и снова нет.
Все подло, лживо и криво – на свете прямого нет.
Друзья говорят – в их речи правдивого слова нет,
Ни верного, ни родного, ни дорогого нет.
Брось на людей надежду – решенья иного нет.

Все вместе и каждый порознь, нищий, царь и лакей –
Каждый из них несчастлив в земной юдоли своей.
Их всех сожрала повседневность, оторванность от людей,
И сколько бы я ни слушал бесчисленных их речей –
В них, кроме лжи и неправды, смысла второго нет.

Странный порядок в силу у сильных мира вступил:
Чье бы печальное сердце ты ни развеселил, –
Оно тебе злом отплатит, отплатит по мере сил, –
Им неприятен всякий, кто доброе совершил...
На целом огромном свете мне друга родного нет.

Ученый и с ним невежда, учитель и ученик –
Снедаемы все страстями, в плену у страстей одних.
Истина всюду пала, грех повсюду проник,
Кто в молл и шейхов поверит, тот ошибется в них.
Ни в одном человеке чувства святого нет.

Всякий чего-то ищет, погонею поглощен,
Ищут себе престолов, венцов, диадем, корон.
Шах округляет земли – за ними в погоне он.
Влюбленный бежит за тою, в которую он влюблен.
Ни радости нет на свете, ни прочного крова нет.

Алхимиками я сделал множество гончаров.
В золото обращал я прах забытых гробов,
Из щебня я делал яхонт, с камня срывал покров,
В бриллианты мог превращать я бляхи на шеях ослов,
Признанья искал – но мир мне ответил сурово: нет!

Тот, кто дворец Джамшида в развалины превратил,
Тот веселье и счастье безжалостно поглотил.
Нет никого, кто б в горе кровь свою не пролил,
Сам я не раз жестокой судьбою испытан был.
Повсюду царство коварства – и царства другого нет.

Ты на людей, как солнце, свой излучаешь свет –
Помни, что слов признанья в радостной вести нет.
Честь, благородство, стыдливость давно уж утратил свет.
Услышали мы, что где-то найден честности след,
Я долго искал и знаю: чувства такого нет.

Я мир такой отвергаю, он в горле стал поперек,
Он злу и добру достойного места не приберег.
В нем благородство тщетно: потворствует подлым рок,
Щедрости нет у богатых – у щедрых пуст кошелек.
И ничего в нем, кроме насилия злого, – нет.

Я видел конец надежды, мечтаний конец пустой,
Конец богатства и славы с их земной суетой,
Конец увлеченья женской невянущей красотой,
Конец и любви, и дружбы, и преданности святой.
Я знаю, что совершенства и счастья людского нет.

Потухли глаза, старею, жизнь черней и черней.
Сколько красавиц мимо прошло за тысячи дней!
Дурною была подруга – погублено счастье с ней!
Аллах, одари Вагифа милостию своей:
Ведь, кроме тебя, на свете друзей у больного нет.

Перевод Константина СИМОНОВА

***

Видади, ты на черствые эти сердца погляди,
И на время, что мчится вперед без конца, погляди!

На судьбу, что злодея внезапно сравняла с землей,
И на праведный гнев, на десницу творца погляди!

На бессилье того, чей светильник под утро угас,
А вчера вызывал поклоненье льстеца, – погляди!

И на эту надменную голову, павшую в прах,
Ей уже не носить золотого венца, – погляди!

На того, кто меня без пощады казнить повелел,
На того, кто его превратил в мертвеца, погляди!

Для доски гробовой нужно шаху четыре гвоздя,
На того, кто от гибели спас кузнеца, погляди!

Пусть примером паденья послужит Ага-Мухаммед,
Опустели роскиошные стены дворца, – погляди!

Не гляди на подругу и друга, на сына и дочь.
На творца всемогущего, как на отца, погляди!

О Вагиф, пред очами твоими пророк Мухаммед,
На избранника божьего и мудреца погляди!

Перевод В.ПОТАПОВОЙ

***

Задержите в полете удар крыла:
Слово есть у меня для вас, журавли,
Вереница ваша откуда летит?
Начинайте об этом рассказ, журавли.

Очарован вами высокий Багдад,
Он прилету вашему будет рад.
Вы широкими крыльями бейте в лад,
Не роняйте перо в этот раз, журавли.

Я с возлюбленной милой давно разлучен,
Словно бабочка, я красотой сожжен.
Я ищу кареглазую среди жен.
Не видали ль вы этих глаз, журавли?

Полюбил я сурьму этих карих очей.
Пусть не сглазят и в темноте ночей,
Пусть минует вас сокол, глядите зорчей!
Я хочу, чтоб вас случай спас, журавли!

Ваша дикая песня нежна, нежна,
И душа моя радостью обновлена.
И Вагифа душа высоко взметена,
Чтобы вечно лететь возле вас, журавли!

Перевод Владимира ЛУГОВСКОГО

***

Женщина, что сердцем хороша, –
Век пройдет, – она бледней не станет.
Если, словно лал, светла душа,
От невзгод она темней не станет.

Благородной красота верна,
Стройная – не сгорбится она.
Если добротой одарена,
Не изменит, холодней не станет.

Кровь ее девически чиста,
Ярче свежих роз ее уста.
Стрел острей ресницы... Лет до ста
Ранящая сталь слабей не станет.

Страшно ль совершенной жить сто лет!
Пусть уже в движеньях силы нет,
Но в глазах горит все тот же свет.
Обаянье меньше в ней не станет.

Истинное счастье – не забудь –
В той, что знает страсти скорбный путь:
К девушкам, Вагиф, не надо льнуть,
А не то спокойных дней не станет.

Перевод Марии ПЕТРОВЫХ

***

Своей весенней красотой цветок любой затмила ты.
Прекрасным станом ствол живой тубы святой затмила ты.

Красавица вселенной всей – пыль под сандалией твоей.
Над Искандаровой главой серп золотой затмила ты.

Благоуханье кос твоих дороже мира для меня.
Небесный мир передо мной и мир земной затмила ты.

Я – раб дуги твоих бровей, мне больше нет пути в михраб, –
Каабы свет, свет божества, день огневой затмила ты!

И если страждет, как Меджнун, Вагиф и гибнет, как Фархад,
Лейли — сияющей душой, Ширин — красой затмила ты.

Перевод Владимира ДЕРЖАВИНА

***

Если милая приходит, с чем сравнится счастье это?
Целовать ее и слышать юной крови жаркий ток,
Видеть круглый подбородок перламутрового цвета,
Отсвет утреннего солнца – золотой румянец щек.

Лебедь белая дивится шее девичьей лебяжьей.
Я стою вблизи потока изнывающий от жажды.
Ты была небесной феей рождена на свет однажды,
Но затмила красотою фею-мать в недолгий срок.

Грудь округлая прекрасна, тело знойное прекрасно.
И лицо твое в улыбке и спокойно, и прекрасно.
Кипарис ты мой высокий, тополь стройный и прекрасный,
Эти царственные плечи для блаженства создал бог!

Губы – алые кораллы, зубы – жемчуга сиянье.
Ах, зачем меня решила вдруг отдать на осмеянье!
Ты особенно красива в этом ярком одеянье,
И к лицу тебе, плутовка, твой оранжевый платок.

Если б скорбного Вагифа полюбила дорогая,
То болезнь его мгновенно излечила дорогая,
Если б дом мой потаенно посетила дорогая,
Чтоб лицо ее и руки целовать я вечно мог!

Перевод Татьяны СТРЕШНЕВОЙ

***

Кто заболеет любовью к рассыпанным локонам – тот
В ямочкн нежных ланит, как в колодец Юсуф, попадет.

Кто совершенен, того постигают напасти судьбы,
Так полнолунья краса постепенно к ущербу идет.

Сильному духом – арена страданья, разлука, тюрьма,
Лишь негодяй, недостойный, не ведая скорби, живет.

Чистым и ярко блестящим выходит из горна металл.
Пламя металл от изъянов очистит, но угли пожрет.

Вот рассыпаются кудри, скрывая любимой лицо,
Ибо лицо, как предатель, смятенье души выдает.

Клады таятся в развалинах, так же для чистых душой
Часто бывает прибежищем всяческой скверны оплот.

Так же, как черная родинка прекрасноликой к лицу,
Радость украшена грустью и праздник — годиной забот.

О Видади! На мученья разлуки тебя и меня,
Словно Юсуфа-Канана, жестокий обрек небосвод.

Ты ж для любви, для цепей ее стар, – отойди, Видади!
Пусть молодой их Вагиф за тебя, за себя понесет.

Перевод Владимира ДЕРЖАВИНА

***

Я мечтой к кудрям прикован, ароматным, как цветок.
От любви изнемогаю, стан согнулся, взор поблек.

Если будет живописец рисовать ее портрет, –
Я хочу стать тонкой кистью, чтоб коснуться нежных щек.

Будто облако восхода на челе ее горит.
Лебедь белая, не бойся, насмерть ранен злой стрелок.

Ты меня околдовала – стал я пленником твоим,
Без тебя, как месяц в небе, я блуждаю одинок.

Я – Вагиф, мне нет спасенья, гибель родинки сулят ...
Ради ямочки на щечке мукам я себя обрек.

Перевод Татьяны СТРЕШНЕВОЙ

ХУРШУДБАНУ НАТАВАН – ХАН ГЫЗЫ – ПОСЛЕДНЯЯ ПРИНЦЕССА ГАРАБАХА

(1832-1897)

Натаван (Хуршудбану Мехдигулу-хан гызы) родилась 6 августа 1832 году в Шуше. Ее отцом был последний правитель Гарабахского ханства Мехдигулу-хан. Хуршудбану была единственным ребенком в семье и последней наследницей Гарабахского ханства, поэтому во дворце ее называли «Дюрру йекта» – единственная жемчужина, а в народе – «Хан гызы» (Ханская дочь). Получила хорошее образование. Владела, кроме родного азербайджанского, персидским, арабским и русским языками. Большую роль в развитии духовного мира Натаван сыграл М.Ф. Ахундов – властитель дум современников, соединивший в своем творчестве гуманистические идеи предшествующей азербайджанской литературы с новыми веяниями своего времени. Ее личное знакомство с ним способствовало широкому интересу Хуршудбану к общественной жизни. На свои средства поэтесса провела в Шушу водопровод, занималась благотворительностью. В 1872 году поэтесса создала в Шуше литературный кружок «Меджлиси унс» («Собрание друзей»), где собирались лучшие поэты того времени, считавшие своими учителями великих классиков Азербайджана – Низами, Физули, Вагифа.

Натаван – автор лирических стихов, навеянных грустью по рано умершему сыну. Вместе с тем в них звучат и мотивы социального характера – жалобы на бесправие женщин в обществе. Ее газели, написанные простым языком, стали популярны не только в Гарабахе, но и за пределами Кавказа.

Натаван похоронена в Агдаме, на кладбище «Имарет». На родине, в Шуше, и в столице – Баку – поэтессе установлены памятники.

Фиалка

Как небеса, ты расцвела, фиалка,
Ты все поля себе взяла, фиалка.
Зачем ты роскошь цветников отвергла,
Зачем поля ты предпочла, фиалка?
Ты шелестишь, как будто боль и старость
Ты в юности перенесла, фиалка.
В тебе весна влюбленность пробудила –
Любовь всегда грустна была, фиалка.
Мне кажется, что локонов любимых
Ты нежный запах донесла, фиалка.

Сыну моему

Мой сын, разлуки злой огонь вздымается во мне.
Душа, как слабый мотылёк, горит на том огне.
Как в каждой песне соловья тоска о розе есть,
Так в каждом возгласе души, гремящей в тишине,
Порыв печали и тоски, и скорби о тебе
Звучит и в темноте ночей, и в лучезарном дне.

Когда-то юноша Меджнун Лейли свою искал,
Так ищет и тебя моя безумная тоска.
Она, мечтая о тебе и о твоём лице,
Бредёт по остриям камней, по водам и пескам.
И слава о твоей красе не сходит с уст моих,
Как не смолкает плеск волны у прибережных скал.

И жил каменотёс Фархад, и гору он долбил,
Чтоб за горой увидеть ту, которую любил.
И сотню неутешных лет в страданиях провёл.
А для того, чтоб ты, мой сын, опять дышал и жил, –
Страдать не месяц и не год, а сотни тяжких лет,
Аббас, у матери твоей достанет верных сил.

О, как туманна жизнь моя, как дни мои длинны!
Не вижу солнечного дня и молодой луны,
Мне помнится цветущий сад, свидание с тобой,
Душа парила, как орел в просторах вышины.
Но дикий вихорь крылья ей навеки надломил,
Любви моей не пощадив, не видя седины.

О, было б лучше, если б я всю жизнь была слепой,
Не любовалась бы твоей твоей небесной красотой!
Как рано высох светлый ключ, и кипарис увял!
И вот, мой мальчик, ты лежишь в земле, в траве густой.
И только камень говорит о том, что это – ты.
А солнце яркое горит над каменной плитой.

Увидеть бы тебя на миг счастливым женихом,
Чтоб ты, потупившись, глядел в смущении кругом.
Отдать бы очи навсегда за взгляд твоих очей.
Не может сердце ни на миг подумать о другом.
Живу я в тесном уголке печали и тоски,
И слезы Натаван текут прозрачным родником.

Перевод Маргариты АЛИГЕР

***

Лучше б и меня не стало, и тебя, о мир двуликий,
Боже, да не будет в мире сердца в путах, в тайном крике.

Лучше сердце бы не тлело от разлуки, и блаженным
И счастливым бы не стало от любви моей к владыке.

Лучше б от тоски ослепнуть, твоего не видеть стана –
Кипариса, чтобы стан мой не сгибало болью дикой.

Лучше не было бы моря, океана слез бездонных,
Чтоб росинки не сверкали на ее прекрасном лике.

Лучше не было бы розы и гулянья в гюлистане,
Чтоб шипы ее мне сердце не кололи, словно пики.

Лучше б не было Египта и величия Ягуба –
Чтоб не знал он униженья, не влачил беды вериги.

Лучше не было бы пира, многолюдного базара,
Чтоб с Юсифом не встречалась Зулейха на этом рынке.

Лучше б не было колодцев, и темниц, и караванов,
Чтоб не видели Юсифа в миг его тоски великой.

Лучше б не было ни плача, ни разорванного сердца
Натаван, чтоб не истаять в безутешном этом мире.

Перевод Абрама ПЛАВНИКА

***

Томлюсь и жду, но нет тебя,
Ты не пришёл, скажи, зачем?
Опять вздыхаю я, скорбя...
Ты не пришёл, скажи, зачем?
Не занялся ты, мой рассвет,
Унёс ты сердце – сердца нет.
И я в тоске ищу твой след...
Ты не пришёл, скажи, зачем?
Свою мольбу к тебе неся,
Я сотрясаю небеса,
Мой кипарис, моя краса...
Ты не пришёл, скажи, зачем?
Так плачет Натаван и ждёт –
И дни, и ночи напролёт.
К ней исцеленье не идёт...
Ты не пришёл, скажи, зачем?

СЕЙРАН СЕХАВЕТ

Мир дому твоему, или Завещание

Рассказ

Перевод Октая МИР-КАСЫМА

Газанфару Пашаеву в законный дар и от чистого сердца…

Я проживал в одном из благополучнейших кварталов Баку, в четырех комнатах на четвертом этаже, и не переставал задавать себе вопрос, как же это меня занесло в соседи к столь успешным людям, в то время как на всей планете не найти было равного мне неудачника. Единственным объяснением, приходившим мне в голову, было «Чудесное Божественное Недоразумение»… Наша девятиэтажка являлась наследием советских времен, и главной привилегией, доставшейся на ее долю, было исключительное право сверху вниз разглядывать разместившиеся вокруг офицерские домишки с двориками на одну машину.

Но сказано: «Этот Мир грешен, ибо изменчив!» Через какое-то время вокруг нашей девятиэтажки, ликвидировав последние приметы присутствия военнослужащих среди мирного населения, горделиво «расправили крылья» шикарные, нагловатого вида красавцы-особняки. Они-то вообще на нас никак не смотрели: ни сверху, ни снизу! Как будто нас здесь вообще не было, и плевали они на нашу девятиэтажность. В их дворах машин размещалось, сколько душе угодно, а заборы были такие толстые и высокие, что за ними даже с нашей крыши ничего не увидишь. Зато они – так мне почему-то казалось – нас видят… Потому как главное – не откуда смотреть, а кто смотрит…

Дети подрастали и становилось ясно: родительская ответственность вовсе не ограничивается процедурами зачатия и родов…

За свадьбой старшего сына логически последовала продажа «четверки» и переселение в микрорайонскую «двушку». Ну, скажем, нормально… Вторая свадьба увенчалась переездом из микрорайона в Баладжары, в «однушку». И подумалось мне: «Видать, я постепенно перемещаюсь в сторону родного села, поскольку, когда много лет назад поезд впервые вез меня в Баку на учебу, путь его пролегал именно через Баладжары. Однако нашего села ведь уже и не было, поскольку оно было захвачено на основании результатов исследовательской деятельности Национальной академии наук Армении…

На самом-то деле мои «внутренние глаза» повернуты в сторону Гарабаха. Когда мы ездили на каникулы к родным, только, бывало, Баладжар проедешь, приходит волнующее предвкушение: «Вот еще чуть-чуть, и мы дома». Это было связано еще и с тем, что поезд Баку-Ереван до Баладжар плелся как полудохлый, потом же летел как стрела.

…Теперь я был снова в Баладжаре. Сидел себе в своем «однокомнатном купе» лицом в сторону родного села и с наслаждением перелистывал презентованные мне поэтами и прозаиками сборники их сочинений. До содержимого книг дело не доходило: я ограничивался лишь чтением дарственных автографов, содержавших вос-

торженные похвалы и дававших основание думать о себе достаточно возвышенно и даже, признаюсь, порою в тайниках души считать себя почти Великим. Думаю, будь на моем месте кто другой, давно уж возгордился бы. Это я, совестливый, запоздал в этом смысле… И тут я вспомнил, что сказал друг моего детства, некий академик, на моем семидесятилетии:

– Не беспокойся, дорогой, у тебя все еще впереди!

Это «предсказание» было бы уместно, как мне показалось, в отношении какого-нибудь двадцатилетнего юноши, но я… Хм!.. Я был растерян, тщетно пытаясь приспособить слова академика к собственной персоне и прозевал часть речи, а когда очухался, то услышал:

– …Да, друзья мои! Творец смертен, но наследие, им созданное, живет в веках!..

Все аплодировали тогда в соответствии с правилами проведения юбилеев, а по поверхности моего семидесятилетнего тела волнообразно прогуливался отвратительный, леденящий кровь озноб…

…Книга подрагивала в руках, оттого что трясся я сам, оттого что содрогался весь дом, в котором я уж пять лет, как обреченно бился в конвульсиях, оттого что за стеной с бесчеловечным грохотом проносились многотонные грузовики… А подумать – поселись я в каком-то тихом месте, может, тосковал бы как цепной пес.

Со мной часто такое происходит. Автографы я уже, можно сказать, вызубрил. Также я уже ощущал, что поселковое существование долгим быть не может: не выдержу, невмоготу мне. Жизнь моя, всегда казавшаяся мне чистым белым полотном, словно обратилась в жалкую ветошь, и сковал ее крепкий узел. Самое же скверное – я уж не надеялся когда-то распутать эту чертовщину…

Нардисты, самозабвенно сражавшиеся во дворе, грязно бранились. Казалось, после такого – ссора до гроба! Но нет же: назавтра как ни в чем не бывало – снова нарды, снова страсти, снова словесные помои. Ничья в нардах невозможна, вот и вспыхивают эти войны копеечные… Такой вот базар-вокзал…

В «Царстве Благополучных Девятиэтажек», невзирая на то, что его обитатели были наверняка более поздними, чем кто-то другой, «пришельцами» на новые территории и уровни, дела шли прекрасно. Проживая в микрорайоне, я часто, испытывая некую «мелкобуржуазную» форму ностальгии, всматривался из окна вдаль в надежде разглядеть очертания вынужденно покинутого мною когда-то квартала. В Баладжарах я тосковал по микрорайону. Подозреваю, что покинув Баладжары, я и по ним скучать буду. Есть лишь одно исключение, способное остановить действие вышеописанной закономерности: если переселиться туда, откуда еще никто не возвращался, это будет абсолютным решением проблемы. И никакой ностальгии…

…Главное, однако, покрепче вцепиться в подол Создателя. Все остальное – ненадежно: за кого ни хватайся, оборвется с треском, ибо гниль. А подол Всевышнего – другое дело! Я наблюдал, как на нем повисало чуть ли не все Человечество!.. Да и теперь это так… Но для того, чтобы удержаться, рука твоя должна быть чиста, подобно ладошке младенца. Иначе скует тебя судорога и рухнешь в бездну…

…Впервые в жизни меня такая жуткая тревога заела. Давила, жилы тянула… Все силы мои отняла. Откуда взялась, я не знал… Только казалось мне, что это нечто неизведанное. Будто внутри меня и на теле моем копошится миллион муравьев. Думал, искупаюсь, и эти твари покинут мою плоть, но до подачи воды в наши краны оставалось еще целых четыре часа… Позвонить жене?.. Нет, испугается, бедняжка…

Перебрал в мобильнике номеров двести и ни на один не позвонил. Сказать по

совести, там были такие люди, что примчались бы по первому моему зову, потому что буквально во мне души не чаяли. Но по неизвестной причине мне вдруг захотелось остаться одному. Это было странно: появилось ожидание какого-то события – то ли отвратительного, то ли фантастически приятного. Во всяком случае, о чем-то нейтральном не могло быть и речи.

…Я отложил мобильник на толстую книгу, и он, будто по заказу, мгновенно зазвонил. Как обычно, я ответил, не глядя на дисплей:

– Слушаю…

– Привет, брат.

Я узнал его мгновенно – это был некий человек очень знатного происхождения…

– Привет, – ответил я.

– Ты где?

– Дома.

– Что происходит? Как ты?

– Прекрасно! – бессовестно солгал я.

– А голос… что-то… «не то», – недоверчиво пробурчал он.

– Не-ет… Просто я тут… вздремнул… – снова соврал я.

– Скажи честно… ничего… э-э… такого?..

Он отличался особой чувствительностью.

– Нет, конечно… Клянусь, – после двух раз врать становилось все проще…

– Слушай, какие у тебя планы на сегодня?

– Никаких… – наконец удалось ответить правдиво.

– Так. В шесть часов за тобой машина подъедет, будь внизу… Поедем, пообедаем… Годится? – заранее зная ответ, спросил он.

– Не мешки ведь таскать зовёшь, а организм ублажать.

– Значит, в шесть под домом… Потом меня с работы заберете и – в путь… Еще двое друзей подъедут…

– Кто такие?

– Увидишь… Свои люди…

– А далеко это? – спросил я без всякой надобности.

– Да нет… Это новое место… На побережье…

– Договорились…

– До встречи… Обнимаю…

– Я тоже…

…Спасатель!.. Настоящий Спасатель!.. Счастья ему!.. Вовремя позвонил. Вообще говоря, Бог меня бережет: всю жизнь, аккурат в самый нужный момент, кто-то меня находит.

…Наша жизнь – это очень нудная история: живешь, маешься и наконец потихоньку докатываешься до гробовой доски.

Но вот же чудо! В самый критический момент вдруг может раздаться телефонный звонок, и тоска-печаль вместе с самыми экстравагантными предчувствиями мгновенно улетучивается, что подтверждает всем давно известный научный факт: людей соединяют невидимые божественные нити, позволяющие им, не унижаясь перед министерством связи и не перегружая спутниковую систему частными проблемами, передавать друг другу самую важную информацию.

Сомнения не было: он элементарно уловил какие-то мои сигналы и для упрощения дальнейших действий позвонил по телефону. Вот и все… ОН – Настоящий Спа-

сатель – есть такой «специальный класс», на который возложена миссия избавления людей от различных затруднений, мучений и опасностей – вплоть до смертельных. Потому что ведь существуют те, кто только и норовит утопить, искалечить, отнять кусок хлеба, оговорить. Вот для некоторого равновесия и существуют хоть и немногочисленные, но знающие толк в своем деле Спасатели…

Он благородный! Но ни один знакомый к нему не обращается с приставкой «Бей». Одно время мода пошла друг другу «Бей» говорить. А он в этом особо и не нуждался: Благородство у него внутри, в самой кровеносной системе циркулирует! Пусть и поздно, но теперь я решил его называть «Бейзаде»! По имени уж не пристало…

Я стремительно приходил в себя – оставалась малая часть пути. Муравьи, завладевшие моим организмом, уловили алгоритм ситуации и синхронно покидали занятые позиции… Я вижу себя очень близко: еще чуть-чуть… И еще… Да, это я… Теперь я похож не на гигантский муравейник, а уже на портрет человека… Вернее, я – уже человек… Что может быть лучше этого!..

Так!.. Кажется, «Отвратительное Событие» нас миновало… Остается что? Хм! «Фантастически Приятное Событие»!.. На всякий случай, с позволения Всевышнего!.. Если будут новые предчувствия, я все расскажу…

…Дедушка Бейзаде был у нас первым скрипачом. Еще сто лет назад… И псевдоним его был «Маэстро» – то есть, учитель.

А в нашем Большом Селе жил ровесник Маэстро – зурначи. Старики клятвенно свидетельствовали, что когда он, поднявшись на вершину Гарагузея, затевал свое мощное соло, все живое – что в небе, что на земле – застывало в безмолвии, покоряясь силе и красоте звуков, что распространялись среди наших холмов и лугов. Вот такие жили люди в нашем Большом Селе! И сила тех людей, и щедрость, и чистота души – все это от земли исходило. И они эту землю-кормилицу лелеяли как мать родную: бескорыстно, любовно… Земля ведь живая, чувствительная. Она и милость знает, да и гнев… Обойдись с ней неласково, прояви низость или прожорливость, не простит Земля обиды: найдется холодная рука, что накажет тебя, не дрогнув. И ухо отсечь может, и будешь, как Андраник ходить до смерти с новым именем: «Tayqulaq», что означает «Одноухий»…

Это я так… Про старые времена вспомнил, вот кровь моя и разыгралась… Но сказано: «Этот Мир грешен, ибо изменчив!»

Ни Большого Села уже нет, ни тех садов, что опьяняли нас весенним ароматом и рассыпали свои щедроты перед каждым, кто только руку протянет, ни тех местечек, где старики молились, где они выращивали по секрету друг от друга свои диковинные цветы, где соревновались в острословии за стаканчиком чая.

Что касается острословия, коим славились наши предки, я вам вот что скажу: Бейзаде – сомнения нет – их прямой потомок! В принципе, шутки шутить – дело непростое. Это творческий процесс, требующий от «претендента» интеллекта и просвещенности. А также способности оперативного реагирования. И, конечно же, яркого индивидуального почерка. Все вышеперечисленное в Бейзаде, безусловно, заложено от природы и дополнено богатой эрудицией. К примеру, он помнит и всегда рассказывает в свойственной ему одному манере бесчисленное количество анекдотов.

Юмор, однако, не единственное, что он унаследовал от свих предков. Все знают, что и дед его, и отец пользовались в наших краях особой репутацией. Бескорыстие, щедрость, искренность – Бейзаде обладает всеми этими качествами на сто процентов.

…Был будний день, однако автостоянка оказалась переполненной.

– Машин немало, однако… – заметил я то ли критически, то ли бессмысленно.

– Ну так это ведь самое бойкое место, – ответил Бейзаде не без удовольствия, – вся «крутизна» теперь сюда устремляется…

К нам спешили, широко раскинув для объятий руки и радостно улыбаясь, еще двое участников сегодняшнего застолья – друг детства, академик, и его всегдашний спутник, седовласый шеф какой-то общественной организации.

– О! Молодцы, прибыли без опоздания, – заметил Бейзаде.

– Истинная интеллигенция к такого рода мероприятиям относится с особой ответственностью, – добавил я.

Я вообще-то был нацелен на самый добродушный, говоря по моде, «позитивный» лад. Но чувствовал, что где-то там, глубоко внутри протекал какой-то независимый от моей воли и непреодолимый процесс мутации: слова как бы сами по себе выстраивались в какую-то ироничную, даже злобную конфигурацию.

Как мне показалось, никому нет дела до моих, мне же самому непонятных, двусмысленностей… Надо же! Увидел академика и вспомнил его дурацкое юбилейное выступление!.. Но никто меня и не услышал, и внимания не обратил… Хм!.. Академик! Ну, ладно… Никто не услышал… И я доволен: ведь отдыхать пришли, а не в моих муравейниках копаться, думал я, надо расслабиться и все…

Улыбчивый официант провел нас в комнату с видом на море.

– Прошу вас, добро пожаловать!..

– Так. Чем угощать думаешь? – спросил по-хозяйски Бейзаде.

– Имеется восемь видов рыбы…

– Что-о?! – не на шутку изумился Бейзаде.

– Имеется восемь… – глаза парня как-то неестественно заблестели.

– Этого не может быть! – категорически заявил Бейзаде.

– Клянусь… э-э… прахом Мир-Мохсум Ага, – настойчиво, но предельно вежливо продолжал парень.

– Я тебе верю… Но послушай меня, сынок, ты ведь еще ребенок. Существует всего два вида рыбы: попавшаяся на крючок и… спокойно плавающая в воде…

Парню это утверждение, кажется, показалось вполне справедливым. Он сперва задумчиво покивал головой, а потом лицо его расплылось в восторженной улыбке:

– Да, да… Понимаю… Совершенно верно…

…Не припомню, чтобы кто-то из психологов или исследователей какого-либо иного направления профессионально заинтересовался удивительным феноменом общественной жизни – Застольем!

Да, да! В какой еще конфигурации, скажите мне, люди объединяются так искренне, радостно и равноправно? А? Спортивное состязание? Футбол? Ничего подобного! Там у каждого свой, отдельный шанс прославиться и заработать очень неплохие деньги. Этим не делятся… Театральная труппа? Хм! В десятки раз страшнее! Рассадник зависти, бессердечия и вероломства. Назовите любую форму коллективной человеческой деятельности, и это будет примером проявления себялюбия, паразитизма, манипуляционной изобретательности и фанатического стремления, не имея на то ни малейших оснований, присвоить себе командные позиции и право на эксплуатацию окружающих.

Клятвенно свидетельствую: единственная форма общественного объединения, способная создать безусловное социальное равноправие и обеспечить идеальный ба-

ланс интересов, чувств и жизненных позиций – это Застолье. И еще: это наилучший способ спастись от страшной человеческой беды – одиночества! Кто из смертных не тяготился одиночеством?.. Не испытывал смятения души, тоску, печаль?.. Не искал спасения в собственном воображении?.. В иллюзиях?

…Самый отпетый скептик верит в формулу «Разделить хлеб-соль». Она священна. Встреча за столом – незабываема… Незабвенна… За столом говорят «Брат». За столом воспевают друг друга. Тост – это жанр устного народного творчества, предназначенный исключительно для славословия – восхваления друг друга в неограниченных объемах, с неограниченными полномочиями на использование любых, даже самых абсурдных преувеличений! Это, если хотите, своеобразная форма «словесной филантропии».

…Четыре руки сошлись над столом в геометрически идеально выверенной точке, сверкающие хрустальные рюмки, издавши изумительный перезвон, поспешили в известном направлении, откуда вернулись порожняком и оказались снова на поверхности стола в ожидании скорейшего повторения хорошо отработанной процедуры.

…Семь раз сходились руки и звучала волшебная музыка рюмочного квартета за нашим столом, и ни одно слово, ни одно рукопожатие, при все бесшабашной и наивной комплиментарности сказанного нами друг другу, не были примером лицемерия или фальсификации. Таков парадокс жанра…

Седовласый и Академик умудрялись между тостами отправлять и получать какие-то телефонные сообщения, и это казалось мне как бы не слишком «гармоничным». Но надо отдать им справедливость – они совершали свои параллельные действия неназойливо и не нарушая ход застолья… А потом Бейзаде достал свой гигантского размера телефон, и зазвучал голос Ягуба Мамедова. Он пел сегях «Мирза-Хусейн», обнаживший в нас все самые чувствительные рецепторы, ответственные за ностальгию, сентиментальность и плаксивость. Опасаясь помешать божественным звукам погружать нас в состояние полного блаженства, мы застыли в виде мраморных изваяний, составлявших величественную монументальную композицию. А когда послышались звуки «Гарабах Шикесте», из глаз безмолвных статуй ручьем потекли слезы…

…Я никогда не забуду этого жуткого зрелища.

Плачущие скульптуры… Я их видел… И сам был одной из них… И теперь я готов поверить в любое невероятное, самое нелогичное, антинаучное чудо.

…Потом наступила тишина, которая была похожа на тишину самого Гарабаха… И еще на конец тишины она была похожа: на конец самой себя…

Очень тяжелое это было зрелище… Поверьте…

…И тут заговорил Настоящий Спасатель:

– Так! Свежайший анекдот. Слушаем! Дружно и не перебивая. *В палату гвардейского госпиталя в сопровождении свиты входит королева Франции. Останавливаясь поочередно у каждой койки, она вручает раненым подарки и на минутку задерживается с выражением неподдельной нежности и сострадания на лице:*

– Куда вы ранены, доблестный воин? – спрашивает королева.

– В плечо, Ваше Величество! – с трудом пытаясь приподняться, отвечает офицер.

– Не вставайте, мой дорогой! Вы истинный пример чести! Ваша королева склоняет перед вами голову!..

– Франция благодарна вам за ваш подвиг! – говорит королева, подходя к следующей койке. – Я вижу, вы ранены в ногу, офицер? Я буду молиться за ваше выздо-

ровление… А вы, месье? Похоже, вражеская пуля попала вам прямо в голову. Какое тяжелое ранение! Но взгляд ваш ясен – вы сильный человек, и я горжусь вами…

…И так, раздавая поочередно подарки, королева, наконец, приближается к молоденькому солдату, лежащему в дальнем углу палаты и встречающему августейшую посетительницу в волнении, граничащем с ужасом.

– А вы? – с улыбкой умиления вопрошает королева. – Куда ранены вы, наш юный герой?

Лицо солдата заливается краской, и он молчит, в невероятном смущении отводя глаза.

– Ах! Милый мальчик! – догадавшись о характере увечья, полученного несчастным юношей, с глубоким сочувствием восклицает королева. – До… э-э.. самой кости? – зардевшись, спрашивает она.

Палата погружается в мертвую тишину, которую через минуту нарушают восторженные возгласы:

– Виват королю Франции!..

– Слава Его Величеству!..

– Да здравствует великая династия Бурбонов!..

«Скульптуры» ожили вмиг. Громоподобный синхронный хохот, сопровождаемый конвульсивными ужимками, сперва, думаю, призван был превратить нас в наших далеких предков, но потом, когда мы медленно утихали со слезами, размазанными по щекам, подобающий нам согласно паспортным данным облик стал постепенно восстанавливаться.

…Академик был задумчив. Брови его то поднимались, то напряженно сходились, и становилось очевидным, что ему приходится прилагать немалые усилия, чтобы разобраться в сути истории с французской королевой, над которой он только что оглушительно смеялся, вероятно, во имя коллегиальной солидарности.

…Седовласый с Академиком возвратились на некоторое время к своим сепаратным «процедурам», а мы с Бейзаде вышли подышать воздухом, прихватив с собой две огромные груши, которые и оприходовали за полминуты.

– Они сейчас сообщат, что вынуждены откланяться в связи с очень важным и неотложным делом… Вот увидишь… – сказал Бейзаде. – А на самом деле где-то в другой компании их ожидает что-то типа шампанского с мороженым… Но я, ты знаешь, не обижаюсь на такие вещи…

…Когда, наконец, Седовласый с Академиком, стараясь придать максимально убедительные интонации своим неуклюжим объяснениям по поводу «необходимости немедленного отъезда», покинули наше пристанище, я решился:

– Ты опытный человек, брат... и арифметика для тебя не темный лес, правда? – Бейзаде поднял на меня свой пытливый взгляд, отчего я запнулся на мгновение, но продолжил: – Да… Я... это… Хочу спросить: вот, скажем, когда такой человек, как я, умирает... э-э, его похороны, поминки… э-э… во сколько…

Я снова запнулся, потому что на лице Бейзаде начала оформляться какая-то шокирующая комбинация ужаса, отвращения и… веселости.

– Что ты плетешь, брат? А-а?! – спросил он. – Пусть враги твои…

Я прервал его:

– …прошу тебя, это важно. Э-э, три, семь, сорок дней… Да, и годовщина. Во сколько может обойтись?.. Пожалуйста…

Бейзаде помолчал еще пару мгновений, неодобрительно уставившись на меня,

а потом, глубоко вздохнув, откашлялся:

– Кх-ххх… Ерунда какая-то…

Потом он взял со стола телефон и стал сосредоточенно и почему-то слишком энергично тыкать пальцем в клавиатуру:

– Ладно… Значит, так… Так… Э-э, да… Камень какой будет, черный гранит, или… житомирский?

– А какой лучше? – спросил я.

– После смерти без разницы…

– Давай житомирский…

– Так. Житомир. Так… это так… Народу будет навалом… Плюс беженцы… Место на кладбище куплено?

– Нет…

– Так… Это сюда… Да… Значит, так, брат, все обойдется… э-э… где-то в тридцать тысяч… Понятно?.. Ну, вот… Я ответил…

Бейзаде отложил телефон и снова уставился на меня, как бы ожидая разъяснений.

– Сейчас я все объясню… – начал я, собираясь с мыслями и стараясь с наименьшим волнением выдержать строгий взгляд Бейзаде. – Понимаешь, если я останусь... э-э там, в Баладжарах, то умру… Причем, скоро… Точно тебе говорю… А в этом случае моим письменным предсмертным поручением будет… чтоб меня похоронил ты…

– Ну и похороню…

– Но мне пока… не очень хотелось бы…

– Чего?.. Не очень?..

– …Ну... умирать… Пока…

– Оригинально… Ну, так ты… скажи, что от меня требуется?..

– Я скажу, скажу…

– Ну, говори, брат, говори…

Бейзаде явно проявлял нетерпение, и я решил не «тянуть резину»:

– Я… хотел бы, ну… сократить твои расходы тысяч… э… на десять…

Я впервые видел его растерянным, он даже как-то беспомощно заморгал глазами:

– Мои расходы?!..

– Да… Ты же не чужой мне…

– Объясни, наконец, толком! Что я должен сделать?!

– Хорошо! Помнишь, на моё шестидесятилетие один лезгин мне машину подарил?.. Ну, «Хундай-Сонату»? Притом этот лезгин меня всего видел пару раз…

– Ну…

– Ну, я на этой машине всего три месяца поездил и продал – дом хотел поострить в Мардакане… Ну, до половины построил… Кстати, землю мне тамошние сельчане подарили… Ну, так вот... если бы ты мне… дал, скажем... ну, двадцать тысяч... я бы… достроил бы… И туда переехал… – Бейзаде слушал меня и монотонно кивал головой, но, кажется, недоумение его только увеличивалось. – …И я бы не умер, – продолжал я, – и всё в таком плане... Да, а главное, ты бы сэкономил целых десять тысяч… Потому что насчет… похорон... уже… Вот... так… Ну, что скажешь?

– Хм… Оригинально… – пробурчал Бейзаде, продолжая кивать головой, и мне показалось, что он пребывает в достаточно мрачном состоянии. А потом он задумчиво добавил: – Чудесно… У меня, не скрою, бывали… э-э… выгодные сделки, но… этот случай э-э… самый уникальный… Что ж, по рукам, брат!

Бейзаде вдруг улыбнулся мне, и я увидел неожиданно сверкнувшее на его лице ликование человека, выигравшего в лотерею сумму, в разы превосходящую любые похоронные или строительные затраты, и еще я захотел увидеть и увидел презрение к суетливой житейской мелочности и сохранившееся в живых клетках со времен нашего удивительного прошлого вековое чувство общности наших потерь и приобретений, нашей крови, имени нашего и принадлежности к тому, что, по сути, никак, кроме как Семьей, называть нельзя, потому что это было бы неразумно, несправедливо и неполезно.

…И я испытал вдруг невероятную тяжесть раскаяния и стыда. Огонь запылал внутри меня, и это было пострашнее нашествия муравьев, которое могло теперь считаться лишь мелким, к тому же абсолютно воображаемым приключением. А огонь – жар – повышенная температура – это вполне реальное физиологическое наказание. Это состояние тела…

– …Эй!.. Эй!.. Что с тобой?.. – услышал я голос Бейзаде. – Не умирай! Вопрос решен! И не хлопнуть ли нам в связи с этим славным событием по сто граммов, а? Под фрукты, а? – он привлек меня к себе, положив руку на мое плечо. – Редкостный ты человек… Открытый… – тихо, как бы «по секрету», сказал мне Бейзаде. – Я горжусь тобой. Спасибо, брат…

Его слова произвели на меня весьма освежающее воздействие, и я удивительным образом вдруг стал свободен от каких бы то ни было оснований испытывать угрызения совести. Жар медленно, но верно, сходил на нет, и на мгновение меня даже посетило чувство гордости за совершенный мною «благотворительный поступок», увеличивший казну моего друга на десять тысяч.

Бейзаде наполнил рюмки, и они, «оживши», сразу же забликовали в лучах солнца, проникших к тому времени в наше тихое пристанище.

– Наша дружба, как выяснилось сегодня, была несовершенна, – сказал Бейзаде, поднимая рюмку. – Не хватало в ней, знаешь чего?.. А-аа… Не знаешь… Безграничного доверия!

Бейзаде многозначительно помолчал, сделал мне знак в виде бокового кивка головой, и мы «хлопнули». А Бейзаде продолжил:

– Ты сегодня выложил мне без утайки свои самые экзотические и дикие мысли! Это высшая категория доверия! Я поздравляю тебя, брат!

…По дороге домой Бейзаде тихонечко, так, чтобы не услышал шофер, спросил:

– Слушай, брат. Теперь, как я полагаю, ни о каком… письменном предсмертном поручении, э-э… не может быть и речи?.. Не так ли?..

– Посмотрим… – сказал я, думая при этом о чем-то другом.

А Бейзаде всплеснул руками и, кажется, выругался сквозь зубы…

* * *

Предложенное вашему вниманию сочинение, жанр которого можно определить как, скажем, «Неразборчивый набросок под воздействием…», написано в моем новом мардаканском доме. Надеюсь, что ознакомившись с данным текстом, вы придете к выводу, что Армагеддон не реален.

Что же касается Нострадамуса, я его никогда не считал мало-мальски серьезным человеком…

ЭМИЛЬ АГАЕВ

Как я оказался однажды Дедом Морозом

(Новогодняя быль)

Реальность супротив мечты

В детстве я любил рождественские сказки. Помню, как прослезился, даже заплакал от избытка чувств, когда в первый раз прочитал, как продрогший в ветхой одежке нищий мальчик идет по улице, видя в залитых светом окнах, как люди едят-пьют, отмечая Рождество, и испытывая от этого еще больше холод и голод, как вдруг…видит под ногами золотую монетку.

Сказки эти тем и хороши, что выражают главное в новогоднем празднике – Надежду. Мечту о том, что с того мгновения, когда стрелка часов завершит свой последний в старом году оборот, и пробьют, наконец, куранты, перед тобой как бы открывается Новая Жизнь и что-то волшебным образом может измениться у тебя к лучшему…

Но известная при этом поговорка – «Пусть болезни и неудачи, все плохое останутся в старом году!», увы, еще до Часа Мечты нередко осуществляется – и еще как! – в реальности.

Лично я перед Новым годом часто болел (вот и сейчас пишу эти строки, находясь в больнице!). Да и с родными-близкими случались неприятности. Так, мой племянник Мехман тоже лечится – проходя мимо забора, окружающего стройку, вдруг почувствовал удар по голове – что-то выбросили сверху, слава богу, не кирпич.

Так что, как и последний месяц зимы, февраль – самый лютый зимний месяц (зима как бы сопротивляется, не хочет уступать свое место весне), точно так же и старый год словно бы бунтует, изо всех сил мстит, пытается «насолить» всем нам, уходя в небытие…

Прелюдия

Да, нехитрая бытовая история, о которой я хочу вспомнить, это не рождественская сказка – быль, хотя есть в ней и приметы сказки – «хеппи энд», благополучный, несмотря ни на что и вопреки всему, конец. А приключилось это со мной, представьте, ровно пятьдесят лет назад (впору юбилей отмечать).

Итак, место действия – село Пиребедиль бывшего Дивичинского района. Время действия – последний день 1963-го года.

Я – учитель русского языка и литературы в местной школе, к слову, одной из старейших (в конце 90-х она отметила свое столетие, на которое и я был зван – кто-то из моих бывших учеников, работающих ныне в исполнительной власти, вспомнил про меня, нашел даже телефон). Но на самом деле, если честно, я обучал не столько детей русскому, сколько сам учился азербайджанскому, чего уже очень давно хотел.

Правда, никто из моих друзей-сокурсников из «параллельного», как говорили, азербайджанского сектора (некоторые лекции мы слушали вместе – наверное, поэтому и название «параллельный»), зная о моем нетипичном в годы царствования везде и всюду русского языка желании, не посоветовал мне при распределении проситься в Шемаху или, скажем, в Гарабах, где говорят на языке, близком к литературному. И я оказался…в татском селе, где

говорили на местном диалекте, произнося «гяляди», «дейяди» – вместо «гялди», «деди», «пуль» – вместо «пул»…

К счастью, Мамед (так, насколько я помню, его звали) – учитель азербайджанского языка и литературы, с которым я тут же подружился, оказался отличным педагогом. И вскоре я уже достаточно свободно говорил на азербайджанском, а после прочтения новелл Энвера Мамедханлы и «Чалы гушу» Гюнтекина (перевод на азербайджанский этого произведения известного турецкого писателя оказался куда лучше перевода на русский под названием «Птичка певчая») я пристрастился к чтению на азербайджанском, и даже замахнулся было на Физули, но…не по птичке полет!

Первые приключения

Куда хуже обстояло дело с приобщением к сельской жизни. К «аяг йолу» во дворе, к расположенному низко над землей и всегда открытому тендиру (буквально через день я…провалился в него, выйдя ночью во двор покурить), к непролазной дорожной грязи. На первую же получку я купил репродуктор, с тем, чтобы слушать «час мугама» по воскресеньям (поначалу эту музыку я совершенно не воспринимал), и кирзовые сапоги, голенища которых были слишком свободными для моих ног, и в первое время случалось, что я терял на ходу один сапог, застрявший в очередной грязной луже.

Да и пение петухов по утрам и разносившийся далеко окрест лай собак по ночам поначалу мешали спать, пока это не вошло в привычку и, напротив, уже даже навевало сон…

Не воспринимал я и такую привычку местных жителей, а точнее, жительниц, когда, выйдя на балкон или на крышу дома, они начинали громко перекликаться друг с другом через все село.

От неожиданности я даже вздрогнул, когда в ответ на «Шахниса, у-у-уй!» я вдруг совсем близко, почти под своим ухом услышал ответный крик: «Н-е-е вар?!» хозяйки дома, где я снимал комнату, ее звали Шахниса…

В голубых «подштанниках»…

Так прошли первые несколько месяцев, наполненных непривычным для меня трудом – я, признаться честно, не родился учителем, и вообще не люблю школу с ее металлическими звонками и оглушительным шумом-гамом, беготней детворы по коридорам на школьной перемене, составлением каждый раз так называемого «плана урока», хотя это было чистой формальностью.

К тому же, первое открытие, которое я сделал – это поразительное несовпадение школьной программы по русскому языку со знаниями местных детей. Они не понимали даже простейшей бытовой речи по-русски, называя меня *Учител-муаллим*, очевидно, полагая, что «учител» – это мое имя (а я поначалу прибег к модному тогда «прямому» методу изучения языка – без перевода), а тут я должен был, согласно программе, проходить с ними, представьте, даже … «Облако в штанах» Маяковского!

Так что вскоре я был вынужден прибегать к переводу хотя бы отдельных слов. Читая:

Буря (tufan) небо мглою кроет,
Вихри снежные (qar) крутя,
То, как зверь (heyvan), она завоет,
То заплачет, как дитя (uşaq), – знал ли я, что и сам когда-нибудь переживу все это!

Были и курьезные случаи. К примеру, однажды я произнес в классе «Гёте» – так, как это имя произносится на русском, услышав в ответ сдавленный смех мальчиков и смущенные смешки девочек. (Мамед объяснил мне потом в учительской, во время перемены, что на азербайджанском имя немецкого классика произносится близко к оригиналу – Höte).

Еще один аналогичный случай. Класс точно так же отреагировал, когда я, читая лю-

бимое мной лермонтовское произведение, произнес: «*Белеет парус одинокий/ В тумане моря голубом*». Потом я услышал от кого-то, что вот, мол, я, «учител», употребил nalayiq söz – «tuman», хотя непонятно, почему русское слово «туман», созвучное в азербайджанском слову, означающему подштанники, – это «неприличное выражение».

Поход в райцентр

И вот уже декабрь, на носу Новый год, который я люблю больше всех других праздников. Особого предпраздничного настроения в школе я не чувствовал. Увидел, что на елке, выставленной в школьном вестибюле, совсем мало игрушек – раз-два и обчелся.

А мне как раз надо было съездить в Дивичи, в райцентр: позвонили из роно – сказали, что на мое имя пришел ответ из Министерства народного образования, так это министерство называлось тогда (я-таки написал туда письмо, о том, что школьная программа по русскому совершенно не соответствует жизненным реалиям).

И теперь мне не терпелось узнать, что написали мне в ответ. Да и заодно, подумал, можно было бы прикупить игрушек для школьной елки.

А надо сказать, что Пиребедиль – горное село. Дорога ужасная, никаких автобусов.

Хозяин дома, муж Шахнисы, тракторист, хотел было отвезти меня на тракторе, но трактор, как назло, сломался. И мне дали лошадь.

С трудом я взгромоздился в седло (до этого на лошади я никогда не ездил), хорошо, что лошадь попалась смирная. Ехал я, ехал. Дорога пошла через лес. Смотрю вниз, чтобы не потерять тропу, как вдруг – бац! Натыкаюсь на нависшую над лесной тропой ветку. Я хватаюсь за нее изо всех сил, чтобы не упасть, и…повисаю на дереве. Лошадь ушла куда-то вперед, я кое-как слез с дерева. Пытаюсь поймать лошадь, но никак это у меня не получается. Как только я приближался к лошади, она отскакивала от меня.

Тут, благо, я увидел поблизости ребят из нашей школы. Спросил – далеко ли до райцентра?

– Да нет, совсем близко!

Тогда я попросил ребят поймать лошадь и отвести обратно в село. А сам пошел пешком.

Буран

А надо сказать, день выдался тихий, теплый, даже не верилось, что на дворе зима. И я пустился в путь налегке, даже надел не ботинки, а кожаные туфли, купленные еще в Баку.

Дивичи и вправду оказались рядом. Я зашел в роно, взял письмо (оказалось – отписка, дескать, программа составлена по типовому проекту и, что главное, утверждена в Москве!). Купил в сельмаге игрушки.

Продавец аккуратно уложил их в мешочек и, дабы они не разбились по дороге, посоветовал мне нести этот мешочек, закинув за плечо.

Тронулся я в обратный путь по уже знакомой дороге. Как вдруг небо враз потемнело, подул пронизывающий до костей ветер, щеки тронул морозец и…повалил густой-прегустой снег. Такого густогоснега, – каждая снежинка, как мне казалось, чуть ли не в палец, – я никогда больше не видел.

Дорогу занесло, вскоре ее было совершенно не видно, и я шел уже наугад, с каждым шагом все больше с ужасом понимая, что иду не туда. Обрадовался было, увидев лесок, и даже, как мне показалось, узнал то дерево, на котором я недавно повис.

Однако за лесом оказался почему-то крутой спуск, напоминающий покрытые толстым слоем палых листьев рвы, из которых я не так давно с трудом выбирался, то пытаясь подняться по скользким листьям, то скатываясь вниз.

…Это случилось месяц назад, когда хозяин дома, где я жил, взял меня на охоту на ка-

бана. Нас разбили тогда на две группы – на тех, кто будет стрелять, и на загонщиков, которые должны были криками и шумом выгонять кабана на стрелка. Меня из уважения к моему званию («учител») определили поначалу в стрелки, но когда по дороге я вдруг выхватил ружье, услышав шум крыльев какой-то птицы и неожиданно для самого себя выстрелил – меня, отчитав как следует, несмотря на мое звание, – ведь я мог запросто попасть в кого-то из охотников, даже кого-то из них убить, – перевели в загонщики.

…Иду я, иду. А тут стало вдруг стремительно темнеть, и я с ужасом все больше понимал, что попал, мягко говоря, в жуткий переплет. В голову лезло то место из «Капитанской дочки», где описывалось, как его герои из-за налетевшего бурана потеряли дорогу…Хотя там была кибитка, и была обессиленная, но все же лошадь. А я был без какого-либо укрытия, без лошади, один…

Страх вскоре притупился, перешел в чувство тупой безысходности. Я, с трудом передвигая ноги, шел уже куда глаза глядят, наугад. Надеясь разве что на какое-то чудо.

Как вдруг, когда последняя надежда стала меня покидать, я через буран, который стал как бы из жалости ко мне постепенно стихать, увидел вдалеке слабые огоньки.

До меня донесся собачий лай, временами переходящий в завывания и даже в долгий протяжный вой.

«Волки!» – мелькнула страшная мысль. Я остановился, как вкопанный, какое-то время стоял, тупо вглядываясь в огоньки. Вижу – они застыли на месте, не двигаются. Нет, с облегчением подумал я, это не волки... Неужели село?

Я пошел дальше на огоньки, и с чувством огромной радости (одно из самых ярких ощущений радости в моей жизни!), наконец увидел и вправду дом…

Не буду описывать, как меня отпаивали чаем, напоив прежде чачей. Как потом оказалось, я попал в село Гендоб, что недалеко от Пиребедиля…Единственное, что я запомнил, прежде чем полностью отключился, оказавшись в тепле, это детские крики при моем появлении:

– Şaxta baba! Şaxta baba!

Уже потом, придя в себя, я сообразил, что моя забитая снегом голова (а я не носил тогда головного убора), напоминающая головной убор, шапку, и бородка, которую я из солидности стал отпускать, тоже сплошь забитая снегом, и вправду делали меня похожим на Şaxta baba (плюс – мешочек с игрушками, который я, несмотря ни на что, не выпускал из рук всю дорогу), – из-за всего этого и показалось детям, что я – вышедший откуда-то издалека, прямо из снежной круговерти, Дед Мороз…

Вот такая история. Чего в ней больше – рождественской сказки, этого неиссякаемого жанра (знаменитая «Ирония судьбы или с легким паром» – это ведь тоже своего рода рождественская сказка) или ужасающая своими приключениями простая реальность, быль, я уж не знаю.

Знаю только одно. Есть, есть все-таки на свете Божья Благодать, которую мы, не связывая ее даже с религией, называем привычным для нас словом Гисмет, Судьба.

Вот и сейчас, дорогой читатель, накануне Нового года, несмотря на все нынешние трудности, которые, вроде бы, не сулят нам ничего хорошего, я хочу воззвать к Судьбе, пожелав каждому из нас не только Здоровья, что обычно в таких случаях желают, но и, в первую очередь, Везения, Удачи.

Поскольку Удача – это и есть Реализованная Мечта, то, что охватывает все хорошее в нашей жизни, включая и здоровье…

УДАЧИ!

СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ

Сестра

Сёстрина любовь – другая...
Мамин пример отражая,
Даже за дело ругая,
Журя и коря за погрешность,
Напоминает безбрежность
Маминой ласковой власти,
Ну, не совсем, так отчасти...
Сестра не ждала подсказки,
Дозируя жесты и ласки,
Сама окликала тебя,
Заботой своей теребя,
Таблетку принять торопя,
Твои выкрутасы терпя,
А в общем, просто любя...

Чумаков

Наш школьный физрук Чумаков
Отваге учил слабаков.
Сам – косая сажень в плечах.
Мастером спорта был, машаллах,
Знал добродушный наш физрук:
«В здоровом теле – здоровый дух»
Болел за «Нефтчи» как истый фанат,
Особенно, когда гостил «Арарат».
Как-то пронёсся по школе слух,
Что врезал на матче кому-то физрук, –
Дескать, некий болельщик-нахал
Директора нашего «попом» обозвал.
Помню я в старом цирке бой –
С питерцем бился физрук дорогой,
Делал ставку на силу свою
Наш физрук Чумаков в том бою.
Не помогла «косая сажень»,
Соперник был крепок, словно кремень,
И одолел физрука шутя.
Руку его вскинул строгий судья...
Эх, Анатолий Иванович, что ж,
Так подвела тебя грозная мощь?..
...Позже узнал я от наших ребят,
Видевших давний чемпионат,
Юным пловцам он скомандовал: «старт»,
И умер... Хоть был и не очень стар.

Пурпуров

Александр Григорьевич на этот раз
Вывел в вестибюль десятый класс.
Там попросторней и посветлей
Для демонстрации его идей.
Где-то сжиженный гелий добыл,
Резиновый мячик в него поместил,
Вынул,швырнул о кафель... Тотчас
Дружно ахнул десятый класс:
Мячик разбился вмиг на куски,
Законам всяческим вопреки...
Школьный «Капица, наш чудодей,
Его бы уважил сам Фарадей!
Мел крошился в его руке,
Формулы сыпались по доске.
Я загорелся физкружком,
Был с Перельманом почти знаком,
Даже рассказ в стенгазету отдал,
«В мире без трения» опус назвал.
Пурпуров заметил пробу пера,
Понял: Ампера теснит Пегас,
К физике мой интерес поугас.
Что-то невнятно буркнул в ответ,
Тактично храня нейтралитет.
Были ведь лидеры наших успехов, –
Толя Разловский, Рауф Рустамбеков...
Так что потеря невелика
Для нашего «Капицы» физкружка.

...С Пурпуровым позже случилась беда:
Ток по сети он пустил в провода,
Свой огород во дворе оградив...
Но, хорошенько порассудив,
Я опускаю этот мотив –
Боюсь ненароком испортить портрет,
Такого наставника не сыщете, нет!

Елена Петровна

Шла война. И сражался народ
Со смертями, печалями.
Гнал машины на фронт,
В пекло ярости адской,
До земли Сталинградской
Лейтенант Новохатский.
Занесло его в тыл,
Занесло, след простыл.
Сквозь огонь оглушительный
Вспоминались ему
Южные жители,

Работяги Баку,
И девушка с фамилией
Простенькой – Мочалова,
На ходу, на бегу,
Вкус свиданья прощального.
Ах, Елена Петровна, милая,
Были мы – малышня,
Желторотые мальчики,
В переулках игравшие в альчики.
Вы копали окопы тогда
Под тревожным Баку,
Преграждая дорогу врагу…
Вы простите, простите меня,
Фантазирую, каюсь,
Но за точность ручаюсь:
Лейтенант этот был,
Я о том не забыл.
Вы брались за кирку
На путях под Баку,
Преграждая дорогу врагу…
Мы узнали другие фамилии,
Пока няньчили взрослые нас,
Мы ж за классом меняли класс.
Первый муж – фронтовик,
на войне покалеченный,
А второй – бывший зэк,
с лагерями повенчанный,
А последний –
в дни жестокие встреченный,
лихом также вполне обеспеченный….
Повзрослел он, наш класс,
Жизнь рассеяла нас,
Но душевная связь не рвалась.
А с распадом державы
Все сменились уставы,
И рассеялись мифы, утопии,
И, все давние узы рубя,
Наш ближайший сосед
Одеяло рванул на себя,
Барабаня в тамтам ксенофобии…
И пришлось вам услышать
Телефонный шантаж:
«Ты все еще здесь?!»
Так пытался вас выжить
Анонимный подлец.
И пришлось вам искать
Очаг поспокойней,
Где вражде не достать
Вашей жизни достойной.
Провожал вас под взором
Патрулей МВД.
Понимали солдаты едва ли,
Что выпало старой чете,

Почему же вот эта старуха
Ворчит на дрожащего друга,
Вероятно, родного супруга,
В вокзальной шальной суете.
И не знали бойцы на перроне,
Что в бакинской старой «хрущобе»,
В застекленном балконе
Остаются без капли воды,
Увядают и сохнут цветы…

Нэт Кинг Коул

Синатра воспел мегаполис,
Пресли влюбил всех в рок,
Но этот волшебный голос
Оспорить их славу смог.
Феномен заморской отчизны
Ворвался в мой тихий очаг,
Исполненный радости жизни
И счастья в лучистых очах.
Он улыбался с экрана
Вечернего ТВ,
И голос его иностранный
Был эсперанто любви.
И вторил певцу чернокожему,
Подыгрывая на фоно,
Джаван Зейналлы восторженный,
У нас популярный давно.
Я выпал из ауры узенькой
И канул в прекрасное шоу,
И растворился в музыке
По имени Нэт Кинг Коул…

Осенний этюд

Чаю молчанья чинары приречной
В шапке тумана пушистой и млечной,
Чую курлыканье стай журавлиных,
Ищущих пристанищ в тёплых чужбинах
Перед нашествием скорой зимы,
Вдали от родимой любимой земли,
Той, на которую с горних высот
Падает пёрышко в мокрый осот
Или в объятья пожухшей травы,
В жёлтые длани истлевшей листвы –
Воспоминаньем измученных крыл…
И встрепенутся полынь и ковыль,
И всполошится родная земля,
За птиц перелётных Аллаха моля,
Глядя в тревожную дальнюю даль:
«Да перейму я вашу печаль!..»

РАФИК ТАГИ
РАССКАЗЫ

Перевод Натаван ХАЛИЛОВОЙ

Два брата

«Ихтияр тоже умер», – писала сестра в конце. В зависимости от того, близким или дальним родственником приходился покойный, такие известия попадали то в начало, то в конец письма.

Издалека мне кажется, что мои односельчане безразличны к смерти. Все время слышу, что тихо и спокойно, без лишнего шума ушел в мир иной еще кто-то из односельчан. Возможно, в каком-то возрасте смерть становится приятна человеку.

«Ихтияр… Ихтияр…» – это имя звучало в моих ушах с самого детства. А брата его звали Махмуд… И они не захотели разъехаться, так и жили под одной крышей. И дом их стоял на самом въезде в деревню.

«Ихтияр и брат его – Махмуд. Махмуд и брат его – Ихтияр».

Я начал вспоминать их и понял, что совсем запутался – которого из братьев звали Ихтияр? Братья были похожи друг на друга и лицом, и ростом, и походкой, но один из них, как только начинало холодать, надевал толстый тулуп. А другой даже в снег ходил по двору в одной рубашке, засучив рукава. Он был очень шумный, и если с кем-то заговаривал, то голос его слышали на другом конце деревни.

После получения письма прошло несколько дней. А я никак не мог успокоиться: какой же из двух братьев умер? «Тьфу, будто загадку я разгадываю».

…С тех пор, как я покинул родную деревню, от регистраций мест проживания в моем паспорте уже не оставалось чистых страниц. Лишь когда стала пробиваться седина, я обосновался в здешних местах. Эх молодость, прожег я ее, и не заметил, как прошла. И куда бы я ни попадал, каждый раз все начинал с нуля.

И везде одно и то же: днем на работу, потом в пивную, потом телевизор, перебранка с женой и потом сон. Дни мои складывались как под копирку.

«И все же, который же из двух знакомых мне братьев был Ихтияром?»

«А тебе не все равно, который?»

Думал, думал, и решил – все равно, какая разница?!

Иногда я забывал, что кто-то умер и при встрече с сельчанами справлялся о них, об их делах. И когда говорили, что он давно умер, а я не мог вспомнить о его смерти, получалось, что этот человек для меня умирал повторно. Бывало так, что семье близкого мне человека я с трехлетним интервалом повторно посылал телеграммы с соболезнованиями.

Нет, я обязательно должен знать, какой же из братьев был Ихтияр. В противном случае буду считать живым то одного из них, то другого. А если спрошу в письме, подумают, вот надо же, совсем забыл деревню и односельчан. Да и мама будет переживать. И еще, вдруг, если письмо попадет ей в руки, то точно сестру сживет со

свету. Ибо ей строго-настрого поручено, чтобы никоим образом не писала мне об умерших и пропавших. Умерли – и да воздаст им Аллах в ином мире! С чего моему ребенку по ним на чужбине горевать?!

Мать есть мать, и на чужбине старается оберегать своего ребенка.

А мы с сестрой пошептались да решили, что она будет писать обо всем, с таким богатырем, как я, ничего не случится. Я просто хотел знать, как и чем живет деревня и односельчане.

В ту ночь приснился мне очень странный сон. Снилось мне, что у изголовья свежей могилы сидит некий мужчина. В лунном свете не разобрать, кто он. Спустя какое-то время из могилы кто-то вышел, и тогда первый влез в неё вместо него. Лишь многим позже я узнал Ихтияра с Махмудом. В моем сне им обоим выпала одна смерть, и ни один из них не хотел навечно разлучаться с братом, потому и умирали по очереди.

…Как-то припомнились мне все смерти, увиденные или услышанные мной с самого детства. Осознал, что девять из десяти смертей никак не расстраивали меня, и понял: из-за того, что смерти эти не печалили меня, первую часть моей жизни можно считать прожитой впустую.

…Я лишь по фотографиям видел, как росли мои братья и сестры, оставленные мной в деревне совсем еще маленькими. На этих фотографиях начинали пробиваться усы у моих братьев, на фотографиях они уходили в армию и становились солдатами, а на коленях у сестер моих появлялись маленькие дети.

Сестра, с которой я переписывался, как-то написала: «Женим еще одного из твоих братьев. Если и в этот раз не приедешь, свадьбу отложим». От этих слов я прослезился.

В августе я с семьей приехал в деревню. Домашние, обнимая нас по очереди, плакали. Когда все успокоились, я зло посмотрел на свою жену:

– Видела? Это любовь.

– А ты сам-то видел?

Вечером, когда стало прохладней, загнали крупного бычка под инжир. Нужно было с вечера подготовить мясо на утро.

Мне, как гостю, палец о палец не давали ударить. Потому мы с моим одноклассником, пришедшим встретиться со мной, став в сторонке, наблюдали за работой. Время от времени он срывал спелый инжир и клал себе в рот.

– Сорвать тебе тоже? – чтобы скрыть неудобство, спросил он меня.

– Нет.

– Пока нет, или вообще не хочешь?

– А где ваш мясник? Темнеет уже! – крикнул один из помощников, оглянувшись в сторону двора.

– Идет, брат, идет!

Четыре-пять человек вывернули мычащему бычку шею, свалили на землю, связали ему ноги. Самый плотный мужчина лег сверху на животное, чтобы тот не дергался. Наполненные водой ведра выстроились в ряд.

Наконец пришел мясник. Пуговицы его рубашки были расстегнуты, рукава закатаны.

– Ассаламалейкум всем, с кем еще не виделся.

Меня словно холодной водой окатили. Это же Махмуд, – брат Ихтияра. Значит, Ихтияр надевал тулуп, когда портилась погода…

– Во имя Аллаха, Мухаммеда и Али! – Махмуд надавил на горло бычка и тупой стороной ножа начал тереть об шкуру. – Ашраф, не режет.

– С чего бы это?

– Откуда мне знать, ты же аксакал…

На ухо ему прошептали что-то. Ашраф сначала сунул руку в свой карман, потом подошел к Махмуду и положил что-то в карман Махмуду.

– Зарезал! Зарезал! – радостно запрыгал мальчонка, увидев, как кровь бычка брызнула фонтанчиком на землю.

– Да благословит Господь!

– Поздравляем, Ашраф, поздравляем! Прими наши поздравления!

– Пускай наступит такой же день и для ваших сыновей и дочерей! Большое спасибо!

Животное билось в предсмертных конвульсиях, пытаясь избавиться от этого кошмара.

Значит, Махмуд не пожелал умирать следующим… Почему-то мне не захотелось, чтобы он меня увидел, и я незаметно ушел.

Умид

Умид с измазанным лицом крепко обхватил милиционера за шею и, размазывая по его лицу сопли, закричал:

– Дядя пришел!.. Дядя пришел!..

Увидев погоны, он словно вдруг нашел новую игрушку, стал дергать их во все стороны.

– Дядя, смотри!.. Дядя смотри!..

Как будто «дядя» никогда не видел погон… скрежеща зубами, он с трудом сдерживал раздражение, ведь бабушка милиционера была богобоязненной женщиной и совершала намаз, а Умид всеми силами старался оторвать погоны. Оторвать не оторвал, но сильно помял. Милиционеру повезло, что погоны не сорвались и не порвались.

Айдын, вовремя подоспев, схватил сына за ухо. Умид запищал. Ухо покраснело, мальчик, отбежав от взрослых, стал издали показывать им язык.

…Во дворе на веревке висело развевающееся от вечернего ветерка стиранное белье: простыни, майки и длинные, как кишки, женские чулки.

Умид взобрался на сложенные друг на друга толстые бревна (отец собирался построить сарай) и, устроившись там, стал рассматривать чистое развешанное белье, то и дело улыбаясь, щурил глаза. Совсем забыл и про милиционера, и про отца.

Мимо него вышагивал петух с облюбованной им курицей. Петух выглядел старше Умида, хотя ему едва исполнилось три года. А ровесники Умида на следующий год уже закончат школу. Но только ребята, которые на следующий год закончат школу, не знали, что Умид их ровесник. Потому, что Умид не знал, что такое школа – в школу он никогда не ходил.

Белье висит, развевается, а Умид смотрит на него и наслаждается.

К закату в деревне Умида солнце всегда отливает оранжевым цветом.

Девушки в разноцветных платьях со смехом и шутками возвращались с работы. При их виде у парня забилось сердце – он босиком выбежал на дорогу, распугав стаю

гусей.

– Эй, хулиган, отойди!

– Бешеный!

– Эй, ты!.. Да как сильно прижимается!

– Вижу, обниматься по душе вам, – подшутила над девушками Ругия. Она один раз уже была замужем и развелась.

– А тебе как будто не нравится …

Полосатые, без ремня, брюки Умида спустились до паха. Кто-то хлопнул его по паху, испугав его, и девушки исчезли.

Умид не пошел за ними. Повернувшись, жалобно посмотрел на свой дом, затем в сторону, где исчезли девушки. Он никогда не мог уйти далеко от дома, как будто дом не отпускал его. И мать была довольна этим. Просыпаясь в зимние ночи, он сонный выходил на веранду, мочился во двор и снова возвращался в свою постель.

– Иди, вода нагрелась, иди, искупаю тебя, иди сюда!..

– Дядя пришел!.. – он пальцем указал на отца, прогуливающегося с милиционером среди бобовой рассады.

Мать пропустила его слова мимо ушей.

– Завтра велю машинкой подстричь тебя.

Умид огорчался, когда его ругали. Подрастая, он со временем стал очень стесняться раздеваться около матери. Съежившись, он повернулся к ней спиной. От мочалки спина его покраснела. Выпирающий позвоночник и ребра каждый раз расстраивали материнское сердце – ребенок совсем не поправлялся, хотя целыми днями она его подкармливала.

Искупавшись, Умид похорошел. Только голова у него была удлиненной формы, будто ее разделили на две половинки. Ресницы были еще мокрыми. Мать надела на Умида чистую рубашку, а брюки те же – полосатые. В деревенских магазинах таких брюк полно и стоили они совсем дешево. Он снова пошел к развешанному белью и начал его рассматривать. Простыни выглядели, как экраны телевизоров. Никто не знал, на что там Умид смотрел и что мог там видеть. Не было врача, которому бы его не показывали. Он то улыбался, глядя на простыни, то расстраивался. А белье колыхалось себе под ветерком. Умид огорчался, когда белье снимали. Быть может, Умида притягивала его чистота… или странные формы рубашек, пуговиц, рукавов. Настоящий праздник смотреть на чистое развешанное белье.

Мать трясла ветки деревьев, чтобы согнать забравшихся туда кур и загнать их в курятник, а птицы кудахтали, выражая свое недовольство хозяйке дома.

…Лейтенант милиции препирался с Айдыном:

– Слушай, ну какой я преступник?! Арестовать человека просто так, это уже беззаконие.

– Не затягивай разговор, отрицать же не станешь, что мы у тебя во дворе обнаружили посадки мака?

– Нет!

– Тогда молчи!

– Я мак сажаю для детей, для довги.

– Уфф!.. Помолчал бы лучше, а то ведь только все усугубляешь. Ну-ка, дай сюда твои уши…

– Что?

– Уши. Отрезать и укоротить их надо.

– Почему это?..

– Что уставился, может, подойдешь поближе!

Наклонившись, милиционер что-то прошептал Айдыну на ухо. Айдын испытующе смерил его взглядом. Вначале растерялся, не зная, что делать, затем, придя в себя, направился к дому. Дойдя до лестницы, словно очнувшись, улыбнулся и подал рукой знак согласия милиционеру. Милиционер, озираясь вокруг, стоял как перст на краю бобового поля.

Прошло пять минут. Айдын, скаля зубы, принес деньги и сунул их в нагрудный карман милиционера.

– Ты что делаешь, балбес!

– Что, не хочешь?..

– Ну, не так же, дурак!

– Да какая разница?!

– А хозяйство у тебя хорошее, не сглазить, – настроение милиционера улучшилось.

– Для детей стараемся.

…Умид вздрогнул, увидев проходящего мимо развешанного белья милиционера со сложенными за спиной руками. Отбежав от белья, он преградил ему путь. Они были одинакового роста, но Умид совсем худой.

Милиционер хотел как можно быстрее выйти со двора, но Умид, налетев на него, исцарапал его лицо.

– Да почему… ты его в сумасшедший дом…

Не останавливаясь, милиционер поспешил к воротам и скрылся за ними.

Умид закричал:

– Дядя ушел!.. Дядя ушел!..

Умид знал всего три-четыре слова. То он смотрел в сторону милиционера, то в сторону белых простыней. Айдын подошел, обнял его, и тогда, кажется, Умид немного успокоился. Так, молча, простояли они довольно долго.

Красный мост

Красный мост очень любил поезда. Даже когда по нему проходила обыкновенная вагонетка с несколькими железнодорожниками в телогрейках, он радостно громыхал и постукивал.

Больше всех из людей ему нравились Расим и Агиль. Это были маленькие мальчики с сердцами чистыми, как полевые цветы. Ежедневно, по три-четыре часа они играли на мосту – гоняя рыб, освистывая детей. Иногда после уроков то Расим шел в гости к Агилю, то Агиль приходил к Расиму. То один приглашал друга на виноград, то другой – отведать тутовых ягод с дерева и понаблюдать за медоносными пчелами.

С моста, среди деревьев виднелось белое здание школы. Вообще-то с Красного моста был виден весь мир: если встать лицом по направлению к Баку, то деревня Расима была слева, а Агиля справа.

Тогда о Баку они только слышали, но никогда там не бывали. А Баку каждый год забирал их повзрослевших односельчан.

– У этих рельсов есть какая-то притягивающая людей сила, – говорил Агиль.

– Нет, сила в Баку, а не в рельсах, – говорил Расим.

– Но тогда почему Баку отпускает от себя так много людей? – не медлил с ответом Агиль.

На самом деле, многие односельчане из Баку уезжали в Марийскую область Туркменистана, а одно место в городе Мары даже названо было в честь их деревни. Односельчане же Расима облюбовали Удмуртию, Чувашию, говорили, будто там идет строительный бум и можно заработать хорошие деньги.

Красный мост скучал, когда ребята не появлялись хотя бы один день. А по ночам и вовсе находила тоска, и только огни проезжавших грузовых поездов освещали его. Днем настроение улучшалось, мост сверкал своим ярко-красным одеянием на солнце. Первым делом по нему проезжал утренний поезд в Баку. Затем появлялись люди, которые, спеша по своим делам, весь день пересекали мост с одного конца на другой и обратно. Кто-то спешил на станцию, чтобы успеть на утренний поезд. Люди шли строго по шпалам, будто боялись, что если сойдут с них, то поскользнутся и упадут в реку, которая несла внизу свои серые воды. Но до сих пор никто не слышал, чтобы мост кого-то сбросил в воду.

Но таких, как Расим и Агиль, не было! Когда у них заканчивались уроки, то мост, зазывая их, светился изо всех сил, чтобы ребята видели, как он им рад, и как он ждет их. И ребята прибегали, садились на мосту, спустив ноги вниз. Иногда соревновались, кто дальше камень кинет в реку. Тогда река, как злая собака, стремящаяся облаять всякого, брызгала водой там, куда падал камень.

Река была своенравной. С наступлением весны она увеличивалась, разливалась, волны накатывали одна за другой, порой поднимаясь до самого моста. Так река грозила мосту. Но только Красный мост был не робкого десятка, не из пугливых. Мост стоял твердо, глядя свысока на беснующуюся внизу реку. Правда, многократные набеги воинствующей реки оставили свои следы на опорах моста, краска там облупилась. В самый разгар войны мост переправлял через себя тяжелые поезда с солдатами и вооружением: много чего пришлось ему перенести. А эта река еще мнит себя сильной и грозной. Но сил ее хватает только на то, чтобы сразиться с деревенскими домами. Разливаясь, она врывается на первые этажи домов, разрушает стены. Что стоит сотворить зло? Мост помнит, как однажды парень искупался в реке, а она наградила его воспалением и убила. Была бы ее воля, она никому бы не позволила переправляться с одной стороны на другую. А мост своим существованием уничтожил ее мечты. Потому река и не любила его.

Была у Расима с Агилем еще одна игра: один из них, встав на колени на одном конце моста, прижимал ухо к рельсам и кричал другому, стоящему на противоположном конце:

– Бей! Бей!

Тот на другом конце стучал маленькими камушками по рельсам:

– Звук доходит?

– Доходит, доходит! Оглохнуть можно.

Друг начинал на шпалах выделывать акробатические номера, порой стараясь перепрыгнуть через три-четыре шпалы.

Тогда мост трясся, выражая недовольство разыгравшимися детьми и опасаясь, что они переломают себе ноги и руки.

…Душа моста была переполнена печалью: мальчики взрослели, все чаще использовали слова *аттестат*, *институт*, *конкурс*. Не сегодня-завтра Баку позовет и увезет парней. Мост готов был разломиться посередине на две части, лишь бы ни один

поезд не проехал от станции до Баку и не увез бы Расима и Агиля! Но время мулов и лошадей давно прошло! Не на поезде, так на машине уедут: автобусом до Баку всего пять часов езды. Красный мост был бессилен.

Однажды вечером, в последний раз, мальчики, держась за перила моста, смотрели вдаль, где виднелись дома, отбрасывающие длинные тени в заходящих лучах солнца. По асфальтовой ленте, подобно жемчужинам, нанизанным на нитку, скользили «Москвичи» и «Жигули».

– Вот была бы у нас такая машина, – сказал Агиль, – мы бы, сигналя, объездили весь мир.

Расим задумчиво смотрел куда-то. Желание Агиля уже сейчас иметь машину настроения мосту не прибавило.

***

Радости моста не было конца и края, когда во время каникул прибывали на станцию поезда со студентами. В ожидании Расима и Агиля он целыми днями всматривался в дорогу, связывающую две деревни. Но никто к нему, кажется, не торопился.

Так прошло несколько дней. Только по предложению Расима они сворачивали к мосту, когда шли в гости друг к другу. Расим сначала проверял опоры моста, собирал в одну кучу мусор: бумаги, брошенные с поездов арбузные корки и ломти дыни, пустые консервные банки...

– Ты что, больной?! – Агиль удивленно смотрел на него.

– Обидится на нас…

– Эй, дурачок, кто, на что?

– Сколько дней мы уже в деревне… а навестить не пришли…

– Вот этот обидится на нас? – Агиль с силой ударил ногой в опору моста. С противоположного конца послышалось похожее на рыдание эхо.

– Это же бетон, сталь, как он может обидеться!

Расим садился на рельсы или, как раньше, на край моста, свесив вниз ноги. Агиль же оставался стоять, чтобы не помять отутюженную одежду! И то и дело торопил:

– Вставай, пойдем!

Потом тащил Расима за руку и, толкая, уводил.

Годы летели, как скоростные поезда. Хотя мост писем и не получал, но кое-что доходило и до его слуха. Расим, окончив институт, работал бухгалтером на птицефабрике в поселке. Агиль же уехал в Москву. Жил там у жены. Строить дом не собирался. «Дом не строят, – говорил он, – дом готовым покупают». Он стал хирургом, искусно вскрывал фурункулы и был ярым врагом аппендицитов.

Только сейчас мост осознавал, что в школе Агиль отличником был из-за тщеславия. Если возможно «пять» получить, то почему бы и не воспользоваться. Пускай учителя хвалят только его. Награждают медалями и грамотами. Чтобы получить золотую медаль, однажды ночью они с отцом пошли в соседнюю деревню, где жил директор школы, сделали ему дорогой подарок. Даже Расиму об этом Агиль не говорил.

«Дом не строят, дом готовым покупают».

Агиль в московских клиниках и больницах подыскал «нужных» знакомых. Их было так много, что без записной книжки всех и не упомнить. Его работа заключа-

лась в том, чтобы, как он выражался, «уважить» того или другого знакомого. «Сейчас время делать деньги, – говорил он, – от Москвы осталось одно название».

Страдания старили мост. Утешением и надеждой оставался только Расим. Приходил один на мост и дымил сигаретой, с каждым днем он выглядел все хуже и хуже. Похож на старика, да и походка стала какая-то старческая, хотя ему не было и тридцати. Он своими силами построил дом, растил четверых детей.

Почки, кажется, предательски отказывали ему. До моста доходили слухи, что Расим порой криком кричит от приступов болей в почках. Во всем виновата река: поила людей своей мутной водой, от которой все внутри загнивало. До упаду играли в футбол, пока не падали от усталости на зеленое поле, и, взмыленные, пили эту воду. Все кончилось тем, что Расим заболел мочекаменной болезнью. И на работе у него неполадки, под давлением руководства он подписал документы, в итоге выявилась недостача, несколько раз он ездил в Баку, чтобы как-то решить этот вопрос, но все безрезультатно. Так что и нервы у него из-за всего этого были расшатаны.

Когда приступы участились, он позвонил Агилю. На другом конце провода друг прокричал:

– Приезжай срочно! Но с набитым карманом! И черной икры прихвати с собой. И коньяк, сколько можешь, привези. Здешние врачи любят хорошо поесть и выпить. Они краем глаза не поведут без всего этого, если даже умирать будешь…

Когда поезд увозил его в Баку, мост весь испереживался. Только бы он здоровым вернулся к семье, к детям. Лишь бы Агиль побыстрее уложил его в больницу.

Деньги у Расима в Москве закончились очень быстро. Агиль забрал их, сказав, что передаст врачам, чтобы те внимательно отнеслись к больному и не отправили бы его обратно, туда, откуда он приехал. «Ты же знаешь, что в Баку врачи – тупоголовые, доверять им свое здоровье нельзя», – сказал Агиль.

На следующий день Расим с трудом добрался из гостиницы в больницу, ехать пришлось в давке в метро и в переполненных автобусах. На такси денег уже не было. «Эх, лишь бы выздороветь, деньги – дело наживное».

Когда в приемной, сопровождая друга детства, Агиль взял Расима под руку, тот ослабевшим голосом сказал:

– Агиль, из привезенного мной, тебе ничего не досталось, мне стыдно перед тобой.

– Мне ничего не нужно, глупец, – Агиль хлопнул Расима по спине, – мы братья, а не друзья.

– Так брату, другу и нужно привозить подарки. У тебя семья…

– Мне от тебя ничего не нужно, кроме твоего здоровья.

Вести, получаемые отцом и братом Расима, телеграфные линии, протянутые параллельно железной дороге, передавали и мосту. Содержание писем Расима тут же доходило до моста через почтовый вагон, проезжающий через него.

Каждое утро Красный мост ждал утреннего поезда. От вечернего дождя он промок и почернел. Люди, размазывая обувью глину и грязь по шпалам, пересекали мост, спеша на станцию. Поезд вот-вот должен был прибыть. Зеленый поезд въехал на мост. В одном из последних вагонов шел такой разговор:

– Его зовут Расим Асад оглу. Он из одной из этих деревень, – мужчина с бакинским акцентом, высунувшись из окна, указал на деревни по обе стороны моста.

– Знаю такого... К добру ли? – ответил с мужчина с местным акцентом.

– Его вчера самолетом привезли, вот, еду на его поминки.

Вот-вот должен был съехать с моста последний вагон. Красному мосту вдруг захотелось схватить этот вагон и отбросить его назад, в сторону Баку, в сторону Москвы, туда, откуда шли эти плохие вести. Поезд же легко пролетел по мосту...

Эта новость подкосила Красный мост. Мост разломился. Шпалы посыпались в воду и поплыли, как стая мертвых рыб. Рельсы рухнули и вонзились в землю по краям реки. Семафор обессилев, скривился у самого основания.

Река же безучастно продолжала нести свои воды.

...После обрушения моста на станциях и в дорожных управлениях поднялся переполох.

Мары – хорошее место

Гасан с семьей, навсегда покинув Туркменистан, вернулся в деревню. Дома пять-десять дней его носили на руках.

В один из дней они сидели, облокотившись о перила беседки. По радио пели ашуги из Товуза. Мамедага, вытянув и положив одну ногу на другую, время от времени рыгал.

– Какой национальности твоя жена, Гасан? – спросил он с наигранной улыбкой.

– Она кумычка.

– Походка у нее нехорошая…

– Не понял…

– Ты только не пойми меня неправильно, особенная у нее походка, – громче повторил отец.

Гасан покраснел.

– Разве можно жениться на городской? – продолжал Мамедага.

– А почему бы и нет?! – парень удивленно пожал плечами.

– Потому что в городе полный хаос, это – развратное место.

– Ладно, не возноси деревню. Будто я не жил в деревне.

Мамедага харкнув, сплюнул на землю. Эта привычка доставляла ему удовольствие.

– Ладно уж… Но разве можно отца и мать в грош не ставить, когда женишься?

Гасан сильно огорчился и, не найдя, что сказать, почесал затылок. Затем застегнул пуговицы на рубашке. Ему давно было за тридцать, но вот уже несколько лет, кто бы ни спрашивал, он говорил, что ему «тридцать».

– Думал, что вы не согласитесь.

– Надо себе правильно пару выбирать.

– А что, девушка обязательно должна быть закрытой, ни на кого глаза не поднимать? Только тогда она хороша?!

– Остановись! Остановись! Ос-та-но-вись! А что, девушка должна с чужими мужчинами хихикать, тогда она приличная?!. Ты меня не заводи. Да еще привез такую… худющая, дунешь – снесешь.

– Нет, жена должна быть толстая, да?!. Очень смешно.

Во дворе под большим тутовым деревом испуганные воробьи наспех клевали черный тут, упавший с дерева. Рядом чинно и степенно разгуливали куры, свысока поглядывая на своих дальних чирикающих родственников, тогда как недавно вылупившиеся цыплята иногда останавливались и с любопытством разглядывали их.

В это время появилась Ругия, возвращающаяся с реки с полными ведрами. В деревенских колодцах вода была соленая и во время стирки мыло в ней не пенилось.

– Да чтоб вам сдохнуть! Чтобы хозяин ваш как собака жил!

Она опустила ведра на землю с такой силой, что вода расплескалась. Подбирая камни, она швыряла ими в птиц, разгоняя их с такой ожесточенностью, будто на их двор совершили нападение вражеские войска.

Они были в ссоре с соседом, жившим на западной стороне, и общение их происходило только в виде ругани и перебранки. Зачастую причинами стычек были какие-то бытовые мелочи, однако они, не стесняясь, ругали на чем свет стоит не только друг друга, но и всех предков.

Соседский паренек, студент, приехавший на каникулы и читавший под деревом книгу, даже глазом не повел на воинственные возгласы и проклятия Ругии.

И у Гасана не было ни капли злобы. Отец часто из-за этого его раньше ругал.

– Человек должен быть принципиальным, – говорил он.

Между домами был сплетен забор из алюминиевой проволоки с человеческий рост. Куры с легкостью перелетали через этот забор, а цыплята спокойно проходили в лазейки. Если бы Ругия не кидалась при их виде камнями, то вражда эта абсолютно не волновала цыплят.

Гасан с соседом-студентом встречался на стороне, по дороге или в чайхане. Как-то они сидели в чайхане у железной дороги. Студент спросил:

– Я слышал, Назима арестовали, это правда?

Гасан сделал глоток, опустив веки, слегка кивнул головой:

– Человека ножом ударил.

– Он учился в нашем институте, после первого курса уехал в Туркменистан. Бросил учебу, дурак. И неплохо учился, в технике хорошо разбирался.

– Он считал, что плохого человека нужно обязательно убить, арестовать – значит пойти на уступки, а он не верил в перевоспитание человека. Был уверен, что перевоспитание – это обман. Ладно, а ты когда институт заканчиваешь?

– Человек, которого ударили ножом, умер?

– Умер, – усмехнулся Гасан.

– Интересно, того, кто убил плохого человека, можно считать хорошим человеком?

– Сложный вопрос. По-моему, можно.

– Тогда зачем арестовывают хорошего человека?

– Потому, что для наказания плохого человека использует самый грубый способ.

– А разве для наказания бывают и мягкие способы? – на сей раз улыбнулся студент.

– У, как посмотреть, не всякая вина может быть наказана смертью.

Они интересовались, по какой причине переругались их семьи.

– Гасан, ты навсегда вернулся?

– Да, совсем, окончательно. Писали «приезжай – приезжай»… Я там бульдозеристом был. Там бульдозеристы вот так живут, – он провел пальцем по горлу, – как капиталисты.

– Жизнь там, наверное, интересная. Разные национальности…

– Да.

– Очень хочу туда поехать.

– Погулять? Летом не езжай. Очень жарко. Представь себе, яйцо в песок кладешь, а оно через десять минут уже сварилось.

– Аллахверен как поживает?

– У Аллахверена нет ни мозгов, ни ума. Пьет много. Однажды наших деревенских, живущих в Мары, завел в комнату, встал у двери с заряженным ружьем и кричал, что должен всех разорвать на части.

– Почему?

– Придурок, кто его знает? Говорил, что нужно пролить вашу бюрократическую, взяточническую кровь и вместо нее влить донорскую – чистую.

– А ружье где нашел, продается?

– Купил у кого-то, дорого. Вряд ли ты помнишь, но раньше в деревне он был любителем индийских песен. Когда я умру, говорил он, то вместо Корана пускай поют индийские песни. А теперь он любитель ружей и пистолетов.

– Носить с собой оружие – это трусость.

– Он отсюда бежал без оглядки, куда глаза глядят. Хотел дом построить, в какую бы организацию не обращался за деревом и бревнами, везде ему отказывали! И он, плюнув на все, уехал.

Студент плеснул остывшим чаем, и на перрон легла ни на что не похожая клякса.

– Гасан, а какие у тебя здесь планы?

– Пока расспрашиваю, можно ли тут где-нибудь бульдозеристом устроиться.

– Пойди на стройку водохранилища. Только вот далековато будет идти и возвращаться оттуда.

– Заставили меня вернуться, вот пусть и ищут мне работу. Шагу за порог дома не сделаю, – он рассмеялся над своими словами.

Вечером по возвращении Гасан застал всю семью во дворе за разговором. Сытые и довольные буйволы, вернувшись с пастбища, были привязаны.

– Так, дорого говоришь. Совесть надо иметь.

– Причем тут совесть? Что я, головорез какой, что ты говоришь, «совесть имей»? – Мамедага стоял, облокотившись одной рукой о дерево. – Легкое ли дело ходить под солнцепеком по улицам Ташкента, Красноводска и заниматься закупками? На пароход не берут, за водой очередь, язык пересыхает так, что во рту и не ворочается. А еще все время переживаешь, не дай бог, поймают – загремишь лет на десять.

– В районном центре таких стульев полным-полно.

– Послушай, хозяйка, если там есть, то иди и купи в этом районном центре. Я же тебя брать их не заставляю. У меня и другие клиенты есть, а те, кто дочерей замуж выдает, те вообще в очередь записываются...

При виде его все замолкли. Женщина была надушена приятными духами.

– Смотри, какой важный, и не поздоровается…

– Добрый вечер. Я же только пришел, – Гасан улыбнулся.

– Вернулся наконец-то?... Милее родных мест ничего нет. Только на родине человек чувствует себя уверенно и в безопасности.

Как ни старался Гасан, узнать женщину так не мог. Он задавал какие-то общие вопросы, делая вид, что признал ее.

– Как поживаете?

– Ну, лишь бы вам хорошо жилось, а мы – так, ничего…

– Почему, пускай всем нам будет хорошо.

– Мой тоже в прошлом году собирался в Мары поехать, услышал, будто там можно хорошо заработать. Но я согласия не дала, сказала: «Сиди уж на месте, хлеб с сыром ешь, но будь со своими детьми».

– И как? Сел?

– А то! Посмел бы ослушаться!

– Значит, любит… – Гасан шутя помахал ей пальцем.

Женщина от этих слов смутилась, рассмеялась. Потом, почему-то посмотрев на Мамедагу, платок натянула на глаза.

– Ну так двадцать лет уж вместе, еще бы не любил.

Под тутовым деревом закипал самовар. Луна освещала сад.

Женщина ушла. Гасан поднял ребенка на руки и прижался к нему щекой. Сын вырос и уже ходил самостоятельно, не держась за руку.

Айшет в комнате гладила белье. Было жарко, двери и окна были открыты настежь. Он пощекотал Айшет шею, от чего она повела плечом.

– Гасан, я очень скучаю.

– Привыкнешь, на новом месте всегда так.

– Да и твои родители ко мне холодно относятся.

– Глупенькая, у нас не принято, чтобы свекор разговаривал со своей невесткой. Это тебе не Мары, там хаос, – он повторил слова отца.

– Нет, Мары – хорошее место. Люди там свободные, открытые, смеются, разговаривают, когда им хочется.

– И здесь тоже так. Мы всего пять-шесть дней как приехали, а уже приглашение за приглашением, застолье за застольем. Не боишься, что разжиреем от угощений…

– Почему твоя мама все время ворчит? А когда меня видит, то и с посудой воюет.

– Но не с тобой же воюет.

– Хмурится при виде меня.

– Их задело, что мы без их благословения поженились.

Гасан включил радио, там исполняли турецкую песню...

– Эй, ханым, на утюге лампочка погасла, значит, он горячий...

Гасан отвык от деревни за те семь лет, что находился вдали от дома. Он даже самому себе боялся признаться, что очень здесь скучает. И где он тут работу найдет? Удрученный, он спустился во двор и стал расхаживать за домом, чтобы успокоить нервы.

На небе гасли последние лучи заката, освещая школу, в которой Гасан учился десять лет. Один из его одноклассников сейчас работал в Баку врачом, другой стал кандидатом исторических наук и вроде удачно женился, пристроившись в семью, где денег куры не клюют.

– Есть же такие ребята! – в назидательных целях говорил отец.

– Я – бездарный, я – плохой! И что дальше?

Мамедага махнул рукой: мол, бездарь, как пришел на этот свет никем, так никем и уйдешь.

Как-то мать, гремя блюдцами и стаканами, не выдержала:

– Ты что за девушку привез? Волосы пострижены до корней – похожа на парня. И еще смотрит на человека и хихикает, зубы скалит.

– Она не хихикает, может, ты хочешь сказать, что она смеется… А зубы, может быть, она скалит оттого, что они у нее чистые и здоровые.

– Я не о таком смехе говорю.

– А сколько видов смеха бывает?

– Она ходит перед свекром, таким грозным человеком, с открытой головой и шеей.

Загадка: «Человек – грозная скала». Разгадка: мужчина-мусульманин.

– Ты хочешь сказать, что она невоспитанная?

– Конечно, я до сих пор ничего подобного не видела.

Тут Гасан уже не выдержал:

– А что ты вообще видела, кроме уборки коровника?

– Так выведи из этого коровника, может, отвезешь в Баку, в Шеки, на курорты, покажи, что и у тебя мама есть.

Слова сына сильно задели женщину.

– Вы человеку причиняете только боль и страдания, – Гасан тоже пожалел о сказанном.

Мамедага снова сидел, закинув ногу на ногу. Ему казалось, что в мире нет ничего, чего бы он не знал.

– Многие, выйдя из тюрьмы, сразу уезжали в Мары, словно, закончив институт, мчались по распределению. Что я, Мары не видел?! Только рот откроют, один мат только и слышен.

И Ругия, с другой стороны, все больше и больше горячилась.

– Скажи ей, пускай возвращается к себе. Не позорь нас.

– Почему? Почему она должна уехать?! Посмотри, она простая, не падкая на деньги и богатства…

– Ну и светлое же будущее тебя ждет!

– Она приветливая!

– Приветливость – это подлизывание, – пробурчал отец себе под нос.

– Ну раз так, то Айшет никуда не уедет. На всем белом свете нет такого хорошего человека, как она.

– Запомни, человек не должен хвалить свою жену.

На этом разговор прервался, потому что кто-то пришел.

Однажды утром Гасан, побрившись, поехал в райцентр. Расспрашивая дорогу, он разыскал стройуправление и зашел к начальнику.

– Работы нет, – заговорил начальник, толстый мужчина с маленькими, как у Гитлера, усиками, не дав Гасану и рта открыть.

– А вообще, в этом районе для бульдозериста есть работа?

– По закону должна быть, – равнодушно сказал тот, поочередно выдвигая ящики стола, он что-то искал.

– Но если я вас попрошу…

Начальник встал, дав понять, что Гасан отнимает у него время.

Поникший, Гасан вышел из кабинета. Какое-то время он стоял один под солнцем, глядя на свою маленькую тень.

Мимо него изредка проходили люди, в некоторых, по золотистым корзинам и пиджакам, это в такую-то жару, сразу можно было признать деревенских. Гасан совсем затосковал.

Вернувшись домой, он с удовольствием умылся у колодца, мать с отцом пошли

на поминки, а откуда должны были отправиться на свадьбу в соседнюю деревню. Он поднялся на веранду, настроение немного улучшилось.

– Айшет, что в такую погоду хорошо: арбуз или чай?

– Ар-буз!.. Чай испортил тебе сердце и почки.

Съедая ломтиками арбуз, Гасан выплевывал семечки во двор и смеялся. Цыплята и куры внизу были начеку и склевывали каждое семечко.

– Тебе нравится наша деревня?

– Я скучаю здесь!

– Заладила: «скучаю, скучаю».

– Ведь Мары хорошее место, зачем, там все бросив, мы приехали…

– Не можем мы, и здесь все бросив, опять уехать. Не пристало мужчине менять свое решение.

– Тебе-то что, ведь здесь твоя родина.

– С каких это пор Мары стал твоей родиной? Твоя родина – Махачкала.

Затем Гасан посмотрел на белоснежные облака, виднеющиеся на фоне чистого синего неба, запустил пятерню в волосы.

– Черт, так и подмывает, вернись в Мары!

От радости у Айшет заблестели глаза.

– Может, поедем… – осторожно спросила она.

– Поедем?! – Гасан, будто вздрогнув, крикнул.

– Сам же говоришь, поедем… Не я сказала…

Айшет не ожидала такой реакции. Она никогда не спорила особо с мужем. Както она сказала Гасану: «Где ты, там рай для меня».

– И в аду? – спросил Гасан.

– С тобой и ад мне рай. Без тебя рай для меня ад…

– Пускай генералы вернутся, посоветуемся.

– Они скажут «нет».

Увидев соседа-студента, Гасан спустился вниз.

Они поздоровались, протянув руки через алюминиевую сетку и, покачав головами, улыбнулись.

– Было бы сейчас рядом море… ей-богу, залез бы в воду и не вылезал.

– Баку совсем тебя испортил.

– В деревне, в этом отношении, плохо… Все удовольствия мира находятся под запретом.

– Наоборот, хорошо, есть все шансы, без сомнения, попасть в рай. Слушай, а почему бы тебе не пойти и искупаться в речке?

– Вот это открытие!

– Мы хотим уехать отсюда, – неожиданно сказал Гасан, и от сказанного ему стало легче.

– Куда?

– Снова туда – в Туркменистан, – у Гасана дрогнуло сердце, что вдруг студент может сказать «нет». Но парень спокойно сказал:

– Мары хорошее место – я слышал…

Тогда у Гасана развязался язык.

– А здесь есть всего пять-шесть формул жизни. Выучи наизусть и живи, а вернее, подыхай со скуки.

Через три дня Гасан показал всем билеты, купленные на поезд. Все были в

сборе. У матери глаза на лоб полезли:

– Куда? – возмутилась мать.

– Куда? – растерянно спросил Мамедага.

– Мы возвращаемся в Мары.

Ругия хоть и раскрыла рот, но звука не проронила.

– Там моя работа по специальности, там все мои друзья…

– Нет!.. – крикнула мать и расплакалась. Потом совсем без надежды посмотрела сыну в глаза. – Нет, не отпущу! Все равно не отпущу! – потом стала умолять. – Сынок, если мы провинились в чем-то, то простите нас… Смотри, и отец сожалеет.

– Да постой же… сначала пойми меня…

– Дай мне эти билеты!

– Зачем они тебе?

– Дай, посмотрю.

– Ты буквы знаешь, чтобы смотреть? Проучилась до второго, до третьего! – улыбнулся Гасан. Айшет стояла вдалеке, прислонившись к перилам. Мать, подбежав, крепко обняла невестку.

– Доченька, не пущу… Когда я тебе слово плохое сказала?

– Мары хорошее место, и поэтому мы…

У Гасана глаза прослезились, он отвернулся.

– Как будто мы на всю жизнь уезжаем… Мы же от вас не отказываемся…

Мамедага молчал, словно воды в рот набрал…

– Обед готов. Для кого же я потом еду готовить буду? – Ругия потянула Айшет к столу.

– Садитесь… – Мамедага заговорил как-то мягко и даже попытался пошутить: – Вы что, аршин проглотили?!

Гасан и Айшет, стоя поодаль друг от друга, задумчиво смотрели вниз. От тутового дерева на землю падала огромная тень.

Ночной судья

Ночью, когда телевизор выключен, телефон молчит, человек остается со своими мыслями, мечтами. Но дневная усталость быстро гасит их ночным сном.

До переезда сюда по утрам меня будила мама, а теперь – будильник. Сам просыпаюсь, сам, вместо мамы, накрываю на стол. Сам сажусь вместо отца во главе стола. Собственно говоря, это единственное место за столом, так что я за ним сижу и за отца, и за братьев и сестер.

Каждый день я отправляюсь на работу как на кратковременную ссылку. Выздоравливание или смерть моих больных приносит мне только одно: лишнюю писанину.

Но каждый день у меня бывает и небольшой праздник – окончание рабочего дня.

…Как-то ночью мне не спалось, хотя было уже поздно. Откуда-то, словно из глубины колодца, послышался кашель, потом наступила тишина. Потом снова кашель, в этот раз погромче. Как будто я должен был ответить на этот кашель.

Порой стена чем-то напоминала мне радио, оттуда иногда исходили звуки. Трудно распознать по кашлю, кто это: мужчина, женщина, старик, молодой, одино-

кий, семейный... Понял только, что квартира этого человека располагается в западной части.

«Может там кто-то умирает, а ты здесь нежишься».

«Какое мне дело? Пускай идет к врачу».

«А ты разве не врач?»

«А может, я не слышу этих звуков».

«Но ты же слышишь!»

Мне стало не по себе от этих вопросов. На мое счастье кашель прекратился.

Я заснул и проснулся уже утром. Проснувшись, поставил чайник на плиту, открыл окна. Дневные звуки, доносившиеся отовсюду, – с улицы, из подъезда, шум лифта, радио, часов, газа, воды, – приглушили кашель. А может, кашлявший вчера человек, приняв душ, ушел на работу.

Я тоже отправился отбывать свою ежедневную повинность.

Ночью, раздевшись, я уже лег в постель и снова услышал кашель. На этот раз мне даже показалось, что кашляют прямо на меня. Поднялся, включил свет. С некоторого расстояния посмотрел на стену. Успокоившись от мысли, что кашель этот не заразный, снова лег в постель и на всякий случай, чтобы проверить себя, кашлянул. Убедился, нет, не хочу кашлять, радостно хлопнул себя под одеялом в грудь. В этот момент в противовес моему кашлю за стеной раздался такой сильный кашель, что казалось, у человека сейчас легкие разорвутся.

«Встань, пойди, проведай его!»

«Откуда я знаю, какая это квартира?»

«Поищи!»

Нет, эти приказы мне надоели.

«Какое мне дело, кто и где подыхает!»

«Ай-яй-яй! А еще врачом себя называешь!»

«Я врач на работе».

И назло внутреннему голосу добавил:

«Чтобы зарплату получать».

«Суть профессии врача – не в зарабатывании средств к существованию, а в помощи человеку».

Обидевшись, я повернулся на другой бок, давая понять, что разговор окончен.

Утром снова я сел за стол один за всю свою семью.

А на работе убеждал своих больных, что их врачу нет равных. Когда я, одевшись, уже уходил домой, то один из больных преградил мне в коридоре путь, желая что-то спросить. Посмотрев на часы, я сказал: «Давайте завтра поговорим в палате». И подумал: «Ты уже получил сегодняшнюю порцию надежды, хватит с тебя, достаточно».

Ночью дома снова кашель, снова вопросы – ответы.

«Какие у тебя планы насчет кашляющего за стенкой?»

«Пусть пойдет в поликлинику и возьмет официальное направление с подписью, с печатью. А если в больнице попадет в мою палату, то я от всей души готов помочь».

«Смотри, если ты сейчас встанешь и пойдешь, то через пять минут будешь рядом с ним».

«А ты вообще кто, его адвокат?»

«Нет, я твой адвокат. Хочу тебя спасти».

«От чего, дорогой?»

Не получив ответа, я размахнулся и ударил кулаком об стену, может, это поможет. Но за стеной стали кашлять еще сильнее.

Чтобы как-то отвлечься, я попытался вспомнить успехи прошедшего дня. Сегодня один из моих больных, который целый месяц не давал мне покоя, навсегда прекратил демагогию.

Еще одного, который никак не умирал, выписал домой, навесив ему лапши на уши, и он ушел довольный.

«Жаль тебя!»

Услышав это, я вскочил с постели и в нижнем белье встал посреди квартиры.

«Отстань от меня! Отстань! Я никому ничего не должен! Отстань!»

Голос тут же замолк. А тиканье будильника потихоньку успокоило меня. Кашель за стенкой и не думал прекращаться.

Вспомнил наших баранов в деревне, которые кашляли до утра. Мама из-за их кашля, горюя, сокрушалась:

– У бедняжек дорожная пыль в легких.

– Не убивайся так. Такой кашель для баранов – норма, – говорил отец, думая только о том, как бы поскорее уснуть.

Сейчас, когда я слышу, что кто-то обращается к ветеринару из-за заболевшей кошки или собаки, перед моими глазами встают наши блеющие и кашляющие бараны, походившие из-за худобы на чучела, и, несмотря на это, их ежедневно, утром и вечером продолжали доить.

Глаза уже слипались, когда снова послышался голос:

«Ну что, опять только бай-бай?»

«Клянусь богом, не знаю, в какой он квартире, не то, как ты говоришь, за пять минут…»

«У человека душа должна болеть…»

«Клянусь богом, если я постучусь среди ночи, меня или прогонят, или милицию позовут».

На следующий день, когда возвращался с работы, я встретил похоронную процессию, идущую со стороны нашего дома. Было бы здорово, если бы это был тот кашляющий. Когда готовил ужин, опять послышался назойливый голос:

«Ты мертвым радуешься».

«Э-э, разве может такое быть?..»

«Ты тоже радуешь смерть. Ты – помощник смерти».

«Я каждый день двадцать-тридцать больных оберегаю от нее, что ты говоришь!..»

Я включил телевизор, чтобы заглушить голос. Показывали балет.

Залезая радостный и довольный в постель, я вновь услышал за стенкой оглушительный кашель.

«Тьфу, хоронили другого!»

Утром спросил у прогуливающегося знакомого старика:

– Кто вчера умер в нашем доме?

– Да один, оставшийся еще с прошлого века, – ответил он, отмахнувшись, словно произошло нечто, не стоящее обсуждения.

– Отчего?

– Легкие.

«Это он! Это он!»

В лифте я поднимался на крыльях радости. Дома свистел, настроение у меня было отличное.

«Если он умер, то кто же кашлял прошлой ночью?» – на этот раз я сам опешил от собственного вопроса. Разозлился на себя.

Ночью, когда телевизор был выключен и молчал телефон, в тишине опять раздался тот самый душераздирающий кашель. Холодный пот выступил у меня на лбу.

«Нет, так жить нельзя».

Я поднялся, включил свет, оделся… Кашляла стена, и я, онемевший, тупо смотрел на нее.

Отвези меня в Баку!

Сестра Адиля уже стала взрослой девушкой, но еще ни разу не была в Баку. Когда брат приезжал на зимние и летние каникулы, она вертелась вокруг да около него и жалобно умоляла:

– Возьми меня в Баку! Дай и мне увидеть Баку! В Баку отвези меня! Я работала и деньги собрала…

Семья дяди жила в Баку. Назакет видела дядину жену Бейим всего один раз и то пять-шесть лет назад, когда они всей семьей приехали в деревню погулять, – очень хотелось теперь ее увидеть. С тех пор Бейим и слышать о деревне не хотела. Она говорила, что в деревне нет ни горячей, ни холодной воды, что по утрам от мычания коров и телят, от кудахтанья кур и писка цыплят и выспаться невозможно.

Салех тоже устал твердить брату о том, чтобы тот приехал в Баку, купил в бакинских селениях дом и зажил, как человек. Он говорил, что дети твои взрослеют, не сегодня-завтра, им придется ехать учиться в город и как же ты, упрямец, будешь оплачивать аренду их съемной квартиры, если ты учитель и живешь только на одну зарплату?! Кто-то из родственников его жены переезжал в Москву и продавал дом в абшеронском селе – красивый, добротный. И по совести говоря, отдавал совсем даром. И если бы брат на все не смотрел сквозь пальцы, то за один «сезон» стал бы не миллионером, а миллиардером. В Москве, в Ленинграде, особенно на праздники, один цветок хватают на лету по три маната.

– Ах, Салех, ты одно знаешь, а другое нет, – после долгих размышлений сказал учитель.

– Чего я не знаю?

– А кому оставить родное гнездо, землю наших отцов и дедов?

– Кому оставить? Тому, кто купит! Давай продавай, вон, молодые все себе дом ищут!

– Нет, нельзя же бросать очаг наших предков…

– Очаг предков! Скажешь тоже!..

– И еще, рано или поздно, мы все вернемся в эту деревню, чтобы быть похороненными на этой земле.

– Э-э, ну что ты вцепился в эту деревню. Ты о ней переживаешь больше, чем о своих детях.

– А ты хочешь, чтобы после смерти нас закопали в какой-то яме?

– После смерти пусть меня хоть собакам бросят! Разве это будет иметь какое-

то значение?!

На этом учитель поставил точку.

Салех всегда спрашивал у Адиля, когда тот возвращался с очередных каникул в город:

– Как учитель поживает? – обиженный, он не называл его братом.

– Так, живет себе.

– Ну конечно, ему все нипочем.

– В этом мире только беспечным хорошо живется, – вторила ему Бейим.

Адиль же в знак уважения, холодно улыбаясь, молчал.

Приезжая из деревни, он первым делом заходил проведать дядину семью и отдать гостинцы, посланные матерью. Рано утром поезд прибывал на вокзал, и так как автобусы в это время еще не ходили, таксисты и частники хватали клиентов и развозили по городу. Сегодняшний день не был исключением. Хотя до сентября оставалось еще много времени, ранним утром в тенниске было холодновато. Поднявшись на этаж, он позвонил в дверь. Обычно он только один раз нажимал на кнопку звонка и потом готов был ждать целый час, когда откроют дверь, лишь бы не тревожить спящих. Наконец спустя долгое время дверь открыл дядя в одних брюках.

– Ты? – спросил дядя, протирая глаза. – Проходи!

Дядя явно был не очень рад племяннику. Раньше Адилю казалось, что если люди расстаются на десять-пятнадцать дней, то, встретившись, должны броситься на шею друг другу, обняться, поцеловаться. Именно так было в его семье. Но уже живя в городе и учась в институте, он понял, что здесь все не так, и совсем неважно, что он приходится племянником дяде и его жене, они ни капельки не были рады его приходу, ему трудно было это понять, но постепенно он привык.

– Заходи, только осторожно, полы скрипят. Иди, вначале умойся, смой с себя грязь дорожную. Только кран до конца не открывай, не поднимай шума, знаешь ли ты, что еще ночь?!

Раннее утро дядя называл ночью.

Адиль, стесняясь и сторонясь, прислонил к стене привезенные гостинцы и по инструкции сначала прошел в ванную комнату. Там он бесшумно умылся и на цыпочках прошел на кухню. В соседней комнате за цветастой занавеской сладко посапывали дети и жена дяди. У Адиля в семье все было по-другому, мама, услышав, что приехали гости, не важно, в какое время суток, сразу вставала и начинала хлопотать, готовить угощение. «Может, человек с дороги устал, проголодался или пить хочет», – говорила она.

Салех наполнил чайник и поставил его на плиту.

– Как дела в деревне?

– Да так… стоит на месте.

– Ты видишь, да, какой у тебя отец упрямый человек! Такое место, как Мардакан, твой отец сравнил с какой-то убогой деревней.

– Почему-то деревня его душе милее.

– Да по глупости только. Дети вырастают… Разве может человек не думать о завтрашнем дне?

Адиль пожал плечами.

Салех разложил на столе завтрак, с шумом налил чаю. Адиль испугался, что этот шум разбудит спящих и с тревогой оглянулся в сторону цветастой занавески.

Солнечные лучи уже окрасили угол соседнего здания.

Через некоторое время из спальни начали выходить проснувшиеся домочадцы. Девочки по одной проходили в гостиную, а оттуда в ванную комнату. Старшие, увидев из коридора Адиля, здоровались. Младшие, детсадовского возраста, приподняв занавеску, вначале оглядывались, как вылупившиеся из яйца цыплята. В конце, разглаживая волосы, вышла дядина жена. Она поздоровалась с Адилем, потом кулаком постучала в зеленую стенку, отделяющую ванную комнату от кухни.

– Эй, побыстрее там!

Из ванной комнаты слышалось плескание.

– Выспалась, моя ханым? – с нежностью обратился Салех к жене.

– Как поживают девочки? – спросила Бейим, зевнув, у Адиля.

– Назакет хотела приехать, все время просит: возьми меня в Баку.

– Эй, девочки, вы там что, уснули? – Бейим еще раз сильно ударила в стенку, посмотрела на мужа. – Слушай, что эти люди увидели в Баку? Мы сами бежим из Баку…

– Привез бы, осталась бы пять-десять дней, – сказал Салех, – отведала бы бакинские блюда.

– Да, а что не привез? Ах Адиль, что девочки в районе видят? Я по себе знаю, девушки и женщины сладости любят. Ну что можно найти в районе, кроме сахара и конфет, твердых, как камень?

– Здесь бы накормили ее тортами различных видов. Наша ханым превратила бы ее в пончика, накормила бы своими собственноручно приготовленными шякярбурой, пахлавой.

– Привези сестру в следующий раз. Сначала мы ее взвесим, чтобы знать, насколько она поправится.

– Вообще-то она упитанная, – сказал Салех. – Но не будет никакого вреда, если еще немного прибавит.

– Удивляюсь, что люди в деревне едят и поправляются! По-моему, единственное, что есть полезное в деревне – это воздух.

– Конечно же, чистый воздух заменяет тысячу различных блюд!

Осмелев, Салех провел Адиля в гостиную. Дядя воодушевился, потому что настроение жены было не таким уж плохим. Он начал утреннюю зарядку, делая приседания, держался за стул.

– Когда я приехал в Баку учиться, то здесь у меня не было ни одного знакомого, ни одного приятеля. Веришь? Родственников нет, знакомых нет, в кармане ветер гуляет. Сам понимаешь, да! Но разобраться-то я разобрался и высшее образование тоже получил… А тебе-то что, слава Богу!

В это время со стороны ванной комнаты появилась Бейим с помрачневшим ни с того, ни с сего лицом.

Адиль заметил это, но не понял, отчего.

– Не правильно ли я говорю, дорогая?

– Что неправильно говоришь?!

– Говорю, слава Богу, Адилю не о чем беспокоиться! Он знает, что когда приезжает из деревни, у него в городе есть дядя, он чувствует себя увереннее. Баку очень разношерстное место, здесь обязательно должен быть свой человек.

– Адиль, когда приезжаешь из деревни, то ничего не привози! Не привози, понял? – Бейим кричала, Адиль растерялся и не мог понять, что произошло. – Приходи без ничего, с пустыми руками, понял?

– Почему? Это же просто гостинцы!

– Ай Адиль, тебе сказано, не привози, значит, не привози! Я устала говорить! Ну почему мы кому-то должны быть обязаны? Цыплят привез худосочных, зачем они нам? Нам упитанных курочек прямо домой приносят. Разве мы таких цыплят едим?! Все равно выброшу в мусорное ведро.

– Клянусь, в этот раз во дворе у нас не было других цыплят. Домашний сыр, мед: таких продуктов здесь не найти. Мед свой, домашний. Мама упрашивала: отвези, отвези…

– Здесь, если у тебя есть деньги, то все своими ногами дойдет до кухни. И еще, что это за мед, воск и что-то еще намешано, аж тошнит, когда смотришь. О сыре и говорить нечего, он испортился, воняет. Не привози ничего! Родной мой, не привози, хорошо? – тут Бейим немного придала своему голосу ласковых интонаций.

Адиль был удивлен, как мог испортиться за пять шесть часов дороги от деревни до Баку такой вкусный сыр, как у матери, и натуральный мед? Или Бейим шум подняла на пустом месте? Скажем, да, цыплята – худышки, слов нет…

– Она правильно говорит, не привози, – Салех тоже осмелел. – Разве мы едим такие вещи? Ай бала, людей отравишь! Дай жить спокойно. Нам приятно будет, даже если ты приедешь с пустыми руками. Это отец твой выгоняет тех, кто приходит к нему без подношений.

– Дядя, а кого он выгонял?

– Несколько раз он мне самому говорил, что… Помнишь, Бейим? Говорил, что чем бутылками боржоми привозить, которые сами и пьете, привезли бы конфеты и печенье, чтобы и наши дети ели.

– Я все помню. Разве можно гостю говорить такое?

Салех в качестве подарка отвозил в деревню туфли, платья, которые были малы или приелись и были разношены его дочерьми. Девочки были тогда еще маленькими и привезенные дядей платья им нравились, они были яркими и красивыми. А у отца душа переполнялась болью, когда он смотрел на дочерей. Потому что самому было не по плечу часто покупать им новые платья. Разве заслуживают они обносков? Говорят же, что ребенок каждый раз, надевая новую вещь, немного растет.

Когда в следующий раз Адиль поехал в деревню, то не сказал матери, что в городе ее гостинцы не понравились. Сказал только одно, что уже прошло время таскать что-то в город, впредь он ничего не отвезет. Потому что очень часто он с вокзала прямиком едет в общежитие, и Бог знает, когда он найдет время проведать дядю, до того времени привезенные вещи или протухнут или прокиснут. И мать попрекнула сына, что он в последнее время совсем упрямым стал.

Мечты сестры о Баку никак не угасали.

– Когда ты меня отвезешь в Баку? – каждый раз спрашивала она.

Однажды, устав от ее постоянных вопросов, он сказал, что да, отвезу в этот раз! Назакет стала прыгать от радости, хотя была уже взрослой девушкой. Два года, как она закончила среднюю школу, и работала в бригаде по виноградарству.

Вот тебе и Баку: с нарядными людьми, с красивыми станциями метро, с улицами, полными машин – красивый Баку !

…Бейим встретила ее так, будто радости ее нет предела. Но и на этом пока спасибо – все равно сестра еще не понимала, где искренность, а где лицемерие. Оставив Назакет у дяди, Адиль быстренько улизнул в общежитие. Пускай сестра все увидит собственными глазами и больше никогда не зарекается о поездке в Баку.

Салех, снова улучив момент, высказался:

– Ну что тебе, слава Богу! – сказал он, – смело приезжаешь в Баку. Конечно, в Баку у тебя есть дядя. А у меня кто был тогда? Я был как сирота.

Назакет сразу прикипела к дядиным дочерям – она была очень приветливая и ласковая. Иногда заплетала по-деревенски детсадовским «цыплятам» длинные косички.

А Бейим частенько давала знать Адилю, что учит его сестру шить платья на швейной машинке. *Учит* – означало, что так как она все равно должна была заняться шитьем, она сажала девушку возле себя, чтобы та смотрела; жалко, что ли, так и самой ей не было скучно.

– А почему вы не позволили ей получить образование? – спрашивала она у Адиля. – Кто после этого ее возьмет?

А Салех продолжал во всем винить своего брата.

– Не послушал он меня. Я тогда сказал ему, приезжай в Мардакан, переезжай в город. И Бейим говорила, и я говорил. Ведь каждый сукин сын, что сюда приезжает, человеком становится!

Пусть совсем немного, но Бейим все же научила Назакет шитью. И с гордостью говорила, что это ей подарок в приданое, потому что в случае чего, *если Назакет выйдет замуж, то она это ремесло заберет с собой в дом мужа. Может быть, и найдется кто-нибудь желающий жениться на ней, потому что она умеет шить. У девушки обязательно должно быть ремесло. Тьфу-тьфу, а вдруг муж внезапно умрет (внезапная смерть – привычное дело для мужчин), а детей надо будет поднимать. Мужчина, в крайнем случае, может пойти и носильщиком работать, и никто над этим смеяться не будет…*

– Умница моя! Милая!

Салех при Адиле и Назакет мог спокойно обнять и поцеловать жену. На эти обнимания и чмокания их дочери привыкли и не обращали на это внимания, а Назакет покрывалась испариной. Адиль краснел, особенно из-за того, что сестра присутствовала при этом.

В Баку Назакет погостила три недели. Дядя взял ее на аллею Почетного захоронения, да еще и хвастался, *посмотри кто покоится под землей в городе, в котором он живет*. А еще раз они посетили «*драму*».

А это – телестудия, по словам дяди, *все концерты, все мировые новости транслировались из этой башни*.

Наконец Адиль отправил сестру вместе со своими односельчанами на автобусе в район, послав с ней немного конфет и фруктов для братьев и сестер, живущих в деревне.

Не прошло и пяти дней, как Бейим послала весточку в общежитие, чтобы Адиль срочно явился к дяде. Он прилетел со скоростью света, потому что жена дяди по пустому поводу не позвала бы.

– Слушай, твоей сестрой заинтересовались…

Адиль, часто моргая ресницами и ничего не понимая, смотрел на Бейим.

– Приглянулась твоя сестра!

– Кто он такой?

– И кто это? – удивленно и обрадовано спросил Салех, тоже впервые услышав эту новость.

– Да вроде в нее влюбились, когда она во дворе вешала белье. Хотят посва-

таться. Отвези меня в Баку! Отвези меня в Баку!.. Вот, оказывается, что было у нее на уме. А зачем же она так приехать в Баку торопилась? Теперешним девушкам из деревни нет доверия! Как приезжают в город, то сразу портятся.

Адиль нахмурил брови.

– Прошу не говорить о моей сестре ничего лишнего.

– Если ты хочешь знать, то твоя сестра очень ветреная девушка. Я ведь могу многое сказать! Во-первых, начнем с того, что красота у нее приторная – если ее кто раз и поцелует, то второй раз уж не заставишь. Во-вторых, – она выключила газовую плиту, достала стаканы из буфета… и не нашлась, что сказать. – В-третьих, сколько можно с расческой в руках вертеться перед зеркалом? Всех городских переплюнула. Всего три дня, как в городе, а сразу же ее заприметили. Что за распущенность? Моим сестрам, живущим в самом центре города, по двадцать пять-тридцать лет, и еще ни один парень их до сих пор не приметил, а если им кто-то слово скажет, то сразу отвадят!

Адиль, ухмыляясь, покачал головой:

– Ну, наверное, только испорченную девушку сватать не захотят, – сказал он.

Тут она замолчала.

– Отец бежит из города, пускай хоть дети приедут и почувствуют вкус жизни, – с опаской заговорил Салех.

– Каков твой ответ? Мне надо ответить им.

– Что я могу сказать...

– Почему, это же твоя сестра. В районе сестру честью семьи считают.

– А в городе разве не считают?

– Позвони отцу, пусть потрудится приехать к нам. Здесь и проведем сватовство и проведем помолвку, не тащиться же им в район.

– А от моего имени скажи, пусть хотя бы в этот раз откажется от своего упрямства и гордыни, – сказал Салех.

– Чем парень занимается?

– А кем он может быть – он шофер. Смотришь, еще врежется в чью-то машину, нынче многие шоферы алкоголики. У твоей сестры и профессии-то нет, чтобы своих детей прокормить. А потом, кто ее замуж возьмет с таким выводком?

Адиль поговорил с отцом по телефону и передал ему советы дяди и Бейим.

– Я из-за этого в город не поеду! Только этого не хватало…

– Дядя согласен!

– Ну конечно, твоя дядя горазд, такого, как он, днем с огнем не отыщешь, не сглазить бы!

Отец повесил трубку.

…В конце осени наступили сильные холода. В общежитиях с разбитыми окнами гулял ветер. Комендант только и делал, что ходил, выставив пузо вперед. Студенты переходили на теплые вещи. Адиль же все еще ходил в тоненьком плаще. Северный ветер хазри, завидев его в Ясамале, трепал его тоненький плащ, как злая собака. Наконец, собравшись с духом, попросил у дяди денег в долг, чтобы купить какое-нибудь дешевое пальто. Пожаловался, что холодный ветер пронизывает все тело. Обещал, что постепенно вернет долг из денег, которые ему будет посылать отец. Бейим в это время гладила детские рубашки и с такой злостью швыряла их в угол, давая понять мужу, насколько неприятен весь этот разговор. Салех все понял…

– Зачем тебе пальто? – скаля зубы, спросил он.

– А пальто для чего нужно, дядя?

– Не успеешь оглянуться, как зима пройдет. В Баку какая зима?!

– Пальто надевают, если оно есть, – проворчала, не выдержав, Бейим.

– Если его нет, то покупают, племянник правильно выразился, но не дам денег. Почему такой умный отец, как мой брат, не покупает сыну вовремя одежду?!.

– Дядя, давайте не будем растягивать разговор: да или нет !

Салех похлопал его по плечу.

– Отцу своему напиши, родной, отцу.

Адиль знал, что у отца денег нет, откуда взяться деньгам на пальто у главы такого большого семейства.

– Ты напиши, пусть он и не пошлет, зато у тебя на руках будут факты. Когда-нибудь он попрекнет тебя тем, что выучил тебя, вот тогда и ты выставишь перед ним все… Бейим, принеси нам поесть.

– Я занята, – крикнула Бейим из другой комнаты.

Прошли месяцы, Салех оказался прав: пришла весна и даже потом лето наступило.

Однажды под вечер он снова был у дяди, они сидели у окна. Во дворе с шумом и смехом играли дети.

– Кем я был, когда в Баку приехал, овечкой-сиротой… Моя ханым, ты слышишь меня? Говорю, Адилю хорошо, машаллах, он из деревни смело приезжает, знает, что дядя у него в Баку есть. Ты не смотри, что Баку такой красивый, он очень разношерстный…

Адиль не слушал его. Все думал и мечтал: знать бы хороший мугам, высказал бы дяде все в мугаме!..

Отпуск

На одной половине крыльца солнечно, на другой – тень. Лежу на деревянном полу, так как в тени прохладно. Во дворе жужжат пчелы. Гости только ушли, и мама у колодца моет посуду после застолья. Я так устал, что лень встать и выключить радио. Там передают новости для публикации в районных газетах «Точка. С новой строки, заглавными буквами: Т-А-С-С, ТАСС…»

И так каждый день. Кажется, весь мой отпуск я проведу, отвечая на вопросы людей, пришедших меня навестить. Спрашивая, каждый преследует свою цель, хотя вопросы приблизительно одинаковые. И это очень выматывает.

Вот я и решил поехать в районный центр, чтобы проветриться. В автобусе встретились люди, которые от души были рады видеть меня. В Москве я отвык от этого. Сходя, со многими договорился о скорой встрече.

Раньше здание районного совета находилось рядом с нашим управлением здравоохранения. В те годы из окна райсовета, которое выходило во двор, выглядывала девушка. Она была как живая картинка для меня, всегда, завидев меня, улыбалась. Сейчас окна наглухо закрыты, стекла покрыты белой известью и этого «портрета» нет. Быстрыми шагами я поднялся на второй этаж. Долгие-долгие годы я не вспоминал о ней, теперь же торопился ее увидеть, но когда дошел до входа, захотелось повернуть назад. В сельских районах не принято расспрашивать о девушке. Потом сплетен не оберешься.

Из комнаты напротив вышла женщина в сером переднике, отступать было уже поздно, так что мне пришлось войти. Здесь стояли ведра с песком и известью, а к стене были прислонены стремянки.

– Райсовет переехал отсюда, – сказала женщина, окинув меня взглядом снизу доверху.

– Куда?

– Не знаю.

– Почему не знаешь? – упрямо спросил я.

Не ответив, она с ведром в руках вошла в соседнюю комнату.

Я стоял во дворе в полной растерянности. Солнце слепило глаза. Не так уж и сложно найти новое здание райсовета. Но нехорошо было бы идти туда искать девушку, не зная ни её имени, ни фамилии. Меня поднимут на смех, если я скажу, что у вас десять лет назад была секретарша… Да еще ради забавы начнут выспрашивать ее приметы. Самое меньшее, о чем они могут подумать, что в прошлом нас связывала романтическая история Асли и Керема.

Вот было бы здорово встретиться с ней самой. Мы здоровались целых пять лет, на сей раз не оплошаю, спрошу, как ее зовут. После долгих размышлений я это дело оставил напоследок.

…В бухгалтерии Управления здравоохранения я вначале зашел к Имрану. Увидев меня, он встал, положил ручку на лежащую перед ним раскрытую канцелярскую книгу.

– О!.. Какой человек к нам пожаловал! Присаживайся, как дела ?

Я заглянул в смежную комнату, чтобы поздороваться и с остальными знакомыми. На месте Мусы-киши сидел человек, с которым я не был знаком. Слева стоял высокий, до потолка, сейф, на столе счеты. В комнате горела яркая, стопятидесятиваттная лампа. Имран, сморщив лицо, дал понять, чтобы я не вникал в подробности.

Мужчина, не отрываясь от работы, ответил на мое приветствие.

– А где Муса-киши? – шепотом спросил я у Имрана.

– Я пойду покурю! – громко предупредил Имран сотрудника в смежной комнате и, взяв меня под руку, вывел из комнаты.

– Наш дядя Муса скончался, царство ему небесное.

– Такого быть не может?!

– Уже четыре года.

– Но он же был еще молод.

– Смерть не смотрит, молод или стар.

– Здравствуй Имран, здравствуй, – крикнул кто-то на другой стороне улицы подняв в дружественном приветствии руки. – Получил приглашение?

– Да, да благословит вас бог!

Значит для меня Муса-киши был жив еще четыре года. Он умер сегодня, в это утро. А может быть, Муса-киши и не умер? А может быть, смерть – это когда человека нет рядом или он временно куда-то уехал?.. Если смерть – это реальность, то весть о Мусе-киши должны были бы узнать и я, и все другие. Выходит так, что один знает, другой нет, а может, тот, кто знает, ошибается?

Муса-киши не прожил даже половины отведенного человеку времени.

Тогда Имран говорил, что Муса сдержанный и все эмоции держит в себе. Он никогда не говорил: «Имран, можешь ты работу сделать так, как положено? Что это за китайские каракули», а просто просил: «Исправь эту ведомость». «Слушаюсь», – осо-

знавая свою вину, отвечал Имран. Брал и, исправляя отмеченные красным ошибки, заново все переписывал. Половина рабочего дня Имрана уходило на исправление написанного им самим же. Работая над счетами, он не мог сосредоточиться, так как все время думал о своем хозяйстве, домашней скотине, и потому в каждом слове делал по две-три ошибки. «Моей зарплаты хватает только на сахар, чай и сигареты», – говорил он. Вот и работал спустя рукава, только, чтобы шел стаж, вот и все.

В жаркие дни в бухгалтерии включали вентилятор. «Выключи его», – хмуря лоб, просил Муса-киши. Не спрашивая причины, Имран молча выключал его.

Такую учтивость Муса-киши считал признаком уважения. И он на такое отношение отвечал взаимностью – не ругал Имрана за его безграмотность. Пускай зарабатывает кусок хлеба для своих детей.

Я так и не мог найти ответа на вопрос: уважал бы Имран Мусу-киши, если бы хорошо умел выполнять свою работу, а Муса-киши не был бы главным бухгалтером?!.

За десять лет Имран совсем съежился. Время постепенно и медленно ведет человека к старости, к смерти. Счастье – это игрушка, которая дается человеку, чтобы его обмануть и утешить.

– Ты что так рано облысел?

Чтобы удостовериться, он коснулся рукой головы и улыбнулся.

– Это не бухгалтерия, а атомный центр.

– Как детишки?

– Дети выросли и родителей уже не признают. Сам-то ты как?

– Я все тот же, без изменений.

– Как ты там поживаешь?

Постояв и немного помолчав, он о чем-то подумал, подмигнул мне и похлопал меня по плечу.

– Во всяком случае, должно быть хорошо.

«А может, мне спросить у Имрана про девушку, выглядывавшую из окна райцентра? Имран в районе знает всех. Нет, пускай останется все, как есть. Если даже ничего не скажет, в душе уж точно подумает, что приехал из Москвы для того, чтобы бегать за девушками».

– Ладно, что мне для тебя сделать?

– Большое спасибо! – я понял, что Имрану надо возвращаться на работу.

– Тогда прогуляйся пока еще здесь …

Оставшись один, я побрел, куда глаза глядят. Солнце поднималось выше, и тени становились все короче.

И тут я столкнулся лицом к лицу с Лидией Ивановной. Она так вяло со мной поздоровалась, будто видела меня каждый день, и тут же спросила:

– В Москве всё есть?

– Всё. А что?

– Здесь тоже всё есть, но только с рук.

Странно, за эти десять лет я вспоминал кого-то чаще, кого-то реже, но всех наших работников здравоохранения, кроме Лидии Ивановны. Мое отношение к ней было средним, точно таким же, как и к другим сотрудникам. А сегодня, зайдя в бухгалтерию, я о ней и не вспомнил.

Когда-то, летом и зимой, Лидия Михайловна ставила электрический самовар, заваривала прекрасный чай. Это тоже входило в круг ее обязанностей.

– Как поживаешь? – повторил я вопрос, заданный мне Имраном.

– Найди мне там мужика, – улыбнулась она.

– Мужики там все пьющие.

– Ой-ой, только не пьющий, только не пьющий.

Лидия Ивановна говорила, ничуть не стесняясь. И еще я заметил, что смеется она или нет, но любой ответ ей безразличен. Наверное, она не верила в исполнение своих надежд и поэтому к своим мечтам оставалась равнодушной. Ее мечты были мимолетны, они мгновенно забывались.

Муж привез ее после военной службы из Перми. За один год, остыв друг к другу, они развелись. Она переехала в коммунальную квартиру да так и жила там. Квартиру ей не давали, говорили, мол, у тебя ребенка нет, как будто она сама не человек.

– Начнешь наверх жалобы писать, скажут, что демагог.

– А если не пишешь… Такая ситуация тоже ведь несправедлива.

– Мы привыкли к несправедливостям.

Расставаясь, пообещал Лидии Михайловне, что завтра к концу рабочего дня встретимся. Я хотел преподнести ей хороший подарок и тем самым смыть с себя вину за то, что до сих пор не вспоминал о ней.

Как говорится, возился, возился Муса-киши со стопками бумаг, кому-то и что-то доказывал, доказывал, и ушел. И со мной много спорил, может быть, и я виноват в том, что повысилось его давление, и в его смерти. Ожидание в очередях не для меня, всегда хотел по-быстрому получить у него нужные мне документы.

– А что, другие не люди?

– Люди.

– Тогда жди, – заставлял меня ждать Муса-киши, правда, удовольствия ему это не доставляло.

В Москве всю нашу бухгалтерскую работу выполняют ЭВМ. Электронные машины заменили труд Мусы-киши. Приборы ЭВМ за один час выполняют всю работу Мусы-киши, Имрана, Лидии Михайловны и еще не знаю, кого, Али, Вели, которую они на своих счетах делали за месяц.

Мне захотелось навестить могилу Мусы-киши. Ведь он, по моему представлению, сегодня умер, и сегодня я пойду и выражу соболезнование его семье. Если переправиться через Куру на пароме, то до деревни Джавад пешим ходом всего 10-15 минут.

Но близости между нами никогда не было, скорее даже холодок друг к другу. И родня его меня не знает. Как они отреагируют на незнакомого гостя?! Если пойду, как объясню, кто я? Я был одним из тех сотен людей, кого знал Муса-киши. И еще, Муса-киши знал мою зарплату. Разве этого мало?

Мне не следует прямиком идти на кладбище, неправильно это, сначала нужно заглянуть к ним домой и выразить соболезнование. А этого я и не умею делать.

«Проходи, брат, садись».

«Спасибо».

«Ты из чьих будешь?»

Основная трудность заключается ещё и в том, что отнести туда, а если деньги дать, то сколько? Интересно, сейчас все деньги дают или что-то еще?

Наверное, на надгробном камне Мусы-киши в соответствии с его профессией написаны цифры: день рождения, день смерти и еще какие-то хорошие слова, за-

служенные им за свою жизнь. Только на надгробных камнях и пишутся хорошие слова.

С того дня, ровно неделю, я каждый день приезжал в районный центр, но так и не осмелился пойти оттуда в деревню Джавад. Наконец, я решил отложить это дело на следующий год, до следующего отпуска, до того времени я что-нибудь придумаю.

Отложил и девушку – «портрет в окне». Ровно пять лет мы радовались, видя друг друга. Оказывается, между нами была не испорченная признанием любовь. Она, наверное, долго искала взглядом меня во дворе районного здравоохранения, когда я навсегда уехал отсюда. Поняв, что меня нет, забыла, а расспрашивать обо мне – только имя себе пятнать.

Для женщины десять лет очень большой срок. Сейчас, наверное, у нее полно детей. Наверное, увидев меня, она и не обрадуется, для нее я сейчас обыкновенный мужчина с недостатками, присущими мужчинам моего возраста.

Я был злой, как собака. Пришел на автовокзал, чтобы вернуться домой. То и дело отсюда отправлялись автобусы. Каждый отъезжающий мгновенно забывался. Хлебный магазин на углу был открыт.

Парк Сокольники

Лена была беременна, и по совету врача ей надо было каждый день выходить на свежий воздух. И где этот свежий воздух? – только в лесах, в парках. В городе у человека от запаха бензина и газа голова раскалывается.

Воздух есть везде – Адиль, заупрямившись, гулять с ней не ходил. Тогда Лена обижалась, разводила руками, мол, без толку, нет от тебя пользы.

Выходя с работы, Адиль сразу же шел домой. Иногда заходил в магазины и тогда после вечных очередей и давки возвращался нервным. Приняв душ и выпив один-два стакана свежезаваренного крепкого чая, он успокаивался и начинал листать книги и журналы, касающиеся его специальности. Главным для него было то, чтобы с ним на работе считались. А там уважали человека только за знания и навыки. Поэтому Адиль все свободное время посвящал повышению своей квалификации. От постоянного чтения в глазах у него рябило.

Ну, ладно, предположим, зауважали тебя на работе, стали считаться с твоим мнением, а потом что? Адиль и сам не знал, что потом. Видимо, ему было достаточно, чтобы с ним считались на работе, и еще, чтобы каждый месяц получать зарплату, и всё. Зарплата – самая главная и надежная вещь. И еще, каждые пять лет она увеличивалась на десять рублей. Адиль точно знал год, месяц и даже день, когда увеличится его заработная плата.

Однажды Лене, несмотря на споры и передряги, удалось вытащить Адиля на прогулку. Отправились в парк Сокольники. В парке Адиль, подобно штангистам, выпятив грудь, толкал Лену локтем:

– Смотри, как я глотаю кислород…

– Не утруждай себя так, – смеялась в ответ Лена.

– А ты как Чарли Чаплин можешь ходить?

Адиль стал имитировать походку Чарли Чаплина.

– Смотрят же!..

Они подошли к аттракциону. Когда кабинки, похожие на ракеты, резко спуска-

лись вниз, женщины пищали, как котята. Зрителей было так много, что яблоку пасть было негде. Все вышли на вечернюю прогулку. Вытянувшись на носках, Адиль попытался рассмотреть длину очереди.

– Ой, батюшки!.. Видишь, да, Лена?

– Вижу, не кричи, я не слепая.

– Я думал, вдруг ты закрыла глаза. Ну пошли, займем очередь.

– Мы что, дети, чтобы кататься тут? Я не хочу!

– Я не спрашиваю, хочешь ты или не хочешь? Я сказал, идем, значит, мы должны пойти.

– А почему всё должно быть так, как ты хочешь?

– Потому что мужчина в доме – я.

– Поздравляю! Сейчас мужчины с женщинами равноправны.

– Правильно – по счету носов, ушей и глаз равны.

Так, разговаривая, сами того не замечая, пристроились в хвост очереди.

– Скажи, пожалуйста, кто сделал самые выдающиеся открытия?

– Предположим, мужчины, что ты этим хочешь сказать?

– Тогда замолчи.

– Это потому, что мужчины не рожают. Пускай день и ночь, все девять месяцев помучаются, как мы, вот тогда посмотрим на их состояние!

Адиль все не унимался.

– Как же они равноправны, если во время войны в бой идем мы?

Лена махнула рукой, мол, бессмысленно связываться с тобой.

Очередь у кассы сворачивала прямиком к аттракциону. Очередь, толкнув Адиля, подвинула его вперед. Он сел в кабинку. Контролеры наказывали сидящим пристегнуться ремнями и при вращении держаться покрепче. Адиль радовался, как ребенок.

Итак, вращение началось. Как только скорость стала увеличиваться, снова начался кошачий визг вперемешку со смехом. Адиль тоже частенько кричал: «Ура! Ура!..» Иногда, подобно велосипедистам, отпускал руки, красуясь перед зрителями. Через пять минут, сойдя с аттракциона, он вернулся к жене.

– Очень приятная вещь! Зачем не села?

– Мне нельзя, – указав на живот, сказала Лена.

– Нашла повод.

– Да и тебя никто не заставлял. И что ты так орал? Перед девушками красовался?

– Чтобы орать, нужно брать специальное разрешение? На работе нельзя, хотя бы пусть здесь…

Лена, улыбаясь, махнула рукой, дурачок.

– Интересно, у детей в утробе матери кружится голова?

– А ты попробуй вспомнить!.. Это я во всем виновата, тебя вообще никуда выводить нельзя.

…В детстве Адиль ничего такого не видел – не пришлось ему ни на аттракционе кататься и радоваться, ни в тире пострелять из ружья. На первомайские праздники он мог получить всего-навсего шарики, да и они, поднявшись в воздух, лопались, коснувшись веток деревьев и потом опять нужно было ждать следующего мая.

А ведь тогда и войны-то не было, чтобы свалить на нее все.

Отец Адиля был единственным человеком в семье, распоряжающимся день-

гами. Никто не имел права перечить ему.

– Лозунг нашей партии и правительства – это экономия и еще раз экономия!

Этими словами отец развеивал в пух и прах все мечты Адиля.

Однажды отец, откуда только солнце взошло, купил и принес сыну цветные карандаши. Адиль в течение трех дней, много рисуя и обтачивая их, все карандаши извел на нет. Потом ровно год отец ему даже простого карандаша не покупал.

– Сначала пускай научится вещи беречь, – говорил он.

– Ты купи, а я научу, как беречь, – обещала мать, упрашивая мужа.

– Ты что пристала, как пиявка! Зачем ребенку карандаши, он что, художник?

У Адиля слюнки текли, когда он смотрел, как ребята проезжают по дороге на велосипедах. Какое это наслаждение, когда можно сесть и, нажав на педали, ехать, куда хочешь, то быстро, то медленно – вот это удовольствие! А самое большое удовольствие, когда едешь прямо на сидящих на земле воробьев, и они разлетаются в разные стороны. Когда ты едешь на велосипеде, то и петухи, и коты, и собаки – все расступаются пред тобой. Адиль испытал такое счастье, так как катался иногда, умоляя и выпрашивая велосипед у своих сверстников.

Однажды он поделился своей мечтой с матерью, сказал, что если купят ему велосипед, то ничего ему больше не нужно, пускай ничего больше ему не покупают, пока не повзрослеет. Увидев в глазах сына огромную мечту, у матери язык не повернулся сказать «нет». Она осторожно подступила к мужу.

– У меня нет завода по изготовлению денег, – буркнул он и уставился в газету.

– Но ребенок велосипед хочет…

– Мало ли чего ребенок хочет. У меня нет денег, чтобы бросать их на ветер, поняла?! Отстань! – он отложил газету, окатил жену презрительным взглядом. – Мой долг заполнить ему брюхо, покупать ему рубашки и штаны. В год две-три пары штанов протирает. Радио, телевизор день и ночь орут – экономия, еще раз – экономия! А нам плевать на это!

Вместо велосипеда Адиль катался на овцах и ягнятах. Однажды, схватив за рога черного барана, с размаху оседлал его, а тот оказался не робкого десятка, брыкнул и скинул его на землю, да так, что Адиль чуть дух не испустил. Его игрушками были животные, ведь он частенько пас их. Однажды вечером телочка отбился от остальных животных. Адиль, задыхаясь от злости и расплакавшись, побежал искать её. Если бы он вернулся без телочки, то отец не пустил бы его домой. Наконец, когда все уже собирались ложиться спать, он нашел телочку и, усталый, пригнал её домой.

А утром после того, как отец ушел на работу Адиль, привязав телочку, хорошенько поколотил её палкой.

Эта телочка, забыв обиду, со временем выросла и стала большой коровой.

Однажды рано утром отец, растолкав его, разбудил, и они эту самую корову отвели на скотный рынок. Адиль тогда учился в четвертом классе.

На рынке отец переговорил с каким-то тощим мужиком в кожаной куртке. Тот нагнувшись, пощупал у коровы под брюхом, посмотрел на вымя и, чтобы сбить цену, скорчил кислую мину.

Адиль не слышал, о чем они говорили, потому что пройдя вперед и сидя на корточках, смотрел на привязанную корову. Сколько лет он пас эту желтую корову, сколько лет он пил молоко этой желтой коровы. А теперь они расстанутся. После этого его корова будет пастись на других лугах. И желтая корова его забудет; и имеет полное право на это, потому что когда она был телочкой, Адиль избил её, чуть кости

ей не переломал. Корова забудет и их деревню. Впредь их желтую корову будет доить не его мама, а незнакомые, неизвестные ему женщины, незнакомые ему мальчишки, имеющие велосипеды, будут пить ее молоко…

Он очнулся от этих мыслей тогда, когда тощий мужик в кожаной куртке, хлестнув корову кнутом, сказал: – «Хо!»

– Вот та-а-ак, вот… – полученные деньги отец снова пересчитал и сунул в карман. – Как хорошо, что избавились, отвязались, совсем старая была, – и после шлепнул его по спине.

Потом Адиль уехал из села, проучился в Баку, вернувшись, уехал в Москву, стал москвичом. А в Москве хоть сто лет проживи, корову не увидишь. Корову здесь можно увидеть лишь в детских книжках. Вместо этого ты в магазинах покупаешь молоко, сыр, масло, завернутые в разноцветные бумаги с надписями на различных языках.

Лене в детстве покупали все игрушки, которые были в Москве. И она, немного поиграв с каждой куклой, с каждым львом, с каждым медвежонком, ломала их. Те самые сломанные и переломанные игрушки до сих пор хранятся дома. Адиль крепко-накрепко поручил Лене, чтобы она ни в коем случае их не выбрасывала. Адиль боялся, что наступит время, и он станет походить на своего отца, будет жалеть для детей покупать игрушки, и тогда вот дети смогут поиграть старыми сломанными.

Звуки концерта, проводимого на открытом воздухе посреди парка, разносились далеко во все стороны.

Они вышли на площадку, где стояло огромное чертовое колесо.

– Пошли туда! – потянул Адиль жену.

– На эти сядем с нашей дочкой.

– А почему не говоришь, что с сыном?

– Мальчика не хочу. Мальчики, когда подрастают, становятся алкоголиками.

Адиль смотрел на людей, но слушал Лену.

– Мы тоже через десять минут сможем подняться на самую высшую точку.

…Адиль не мог никак оторваться от работы. Писанину, которую не успевал докончить на работе, он приносил домой. Дом для него был продолжением работы. В выходные и в праздничные дни он скучал без работы. А что он мог поделать? Кино – он не любил, театр – не любил. Ходить в гости или принимать гостей тоже не горел желанием.

Интересно, что же такое молодость? Ему уже за тридцать, но он еще толком даже не научился танцевать. От случая к случаю, немного опьянев, он пытался танцевать, но при этом двигался, как на протезах. Говорил, что сам придумал этот танец.

А может, молодость – это ежедневная работа в поте лица? Хлопочешь, чтобы ордена и медали получить? Адиль ничего не знал, пока ничего не знал. Наверное, к шестидесяти, семидесяти годам поймет, что это. Тогда вот он заживет, а! С одной стороны, пенсия сама будет капать, дети, внуки частенько будут класть деньги ему в карман. Правда, тогда относительно поздно будет, но что тут сделаешь?

Но сейчас, в данный момент, он не знает, что такое молодость! Вот сейчас, в парке Сокольники, он прекрасно понимал, что такое детство, несмотря на то, что с детства прошло больше двух десятков лет. Поэтому сегодня он хотел насладиться всеми удовольствиями детства.

Когда Адиль вспоминал своего отца, то у него от страха сердце замирало, ему казалось, что тот снова запретит ему насладиться детством. Чтобы отогнать свой

страх, он вытащил из кармана деньги и стал размахивать ими.

– Нашел, чем играть?

– Ханым, я вытащил деньги, чтобы билет купить.

– До кассы еще сто километров осталось.

Когда Адиль, кружась и наслаждаясь, поднимался наверх, Лена стояла у кассы с мрачным видом. Свежий воздух, о котором говорили врачи, обходился ей дорого. Адиль сверху махал, свистел. Лена даже глазом не вела в его сторону. Когда кабинка с Адильем достигла самой высокой точки, весь парк оказался, как на ладони. Здания вдалеке напоминали спичечные коробки, метро походило на детскую игрушечную машину.

– А вот и я! – наконец, спустя много времени, Адиль вернулся, веселый и довольный.

– Космонавта нам только не хватало…

– Я вспомнил одну вещь. Ты можешь найти детские книжки с иллюстрациями?

– Зачем тебе сейчас?..

– Не для ребенка, для себя! Очень хочу прочитать Андерсена, Родари, Маршака! Я слышал про них!..

– Скажи, если не трудно, где ты получил образование?

– А сама ты где получала, ведь кроме таблицы умножения ничего не знаешь. Я же математику грызу, как семечки…

В средней школе отец наказал учителям по математике и физике, чтобы они были построже с Адилем. Отец частенько говорил, что тот, кто знает технические предметы, без куска хлеба не останется.

– Отложим до рождения ребенка. Достану эти книжки позже, вместе почитаете: отец с ребенком.

Адиль, крепко обняв жену, расцеловал ее в обе щеки.

– Смотри, ты обещала! Ну, а теперь пошли!

– Куда?

– Сядем еще и на детскую железную дорогу и этим завершим спланированное на сегодня.

– Туда только дети садятся, не позорь себя!

– И я тоже ребенок!

– С этими усищами?

– Сегодня я ребенок: усы и прочее – это второстепенные вещи.

Уже через пять минут Адиль сидел в детском поезде, крутил игрушечный руль направо-налево, а поезд ехал своим ходом, люди, смотрящие со стороны, улыбались. Адиль тоже смотрел и улыбался людям, которые вовремя прожили свое детство, он был рад тому, что хоть и поздно, он все-таки вернулся в те дни.

Гости

Услышав прерывистые междугородние звонки, Халида подпрыгнула на месте.

– Ур-ра! Это Баку!

Слетевшая с рук бумажная салфетка, подобно раскрывшемуся парашюту, приземлилась на стол.

Стараясь сохранять спокойствие, Сакина, проглотив непрожеванный кусок, на-

правилась в прихожую. Еще дома, в Баку, она не раз предупреждала дочь, чтобы во время телефонных разговоров та умеряла свои восторги, вначале говорила о важных вещах, а проявления нежности оставляла на конец разговора.

– Алло! Алло, алло-о…

Кажется, на другом конце трубки зависла тишина.

– Детка, ну почему ничего не слышно, – Сакина растерянно заглянула в комнату, где сидел Алим.

– Дай мне! Мама, мне дай! – Халида попыталась вырвать трубку у матери.

– Да отойди ты, погоди! – она локтем оттолкнула дочку. – Алло!

Увидев бесполезность своих попыток что-то услышать, она в сердцах бросила трубку Халиде.

– И это хваленое Баку! Даже автомата нормального нет.

– Папа, миленький!

– Да потише ты. Разве криком чего-то добьешься?

Алим спокойно перекладывал на столе тарелки, пытаясь разместить принесенное блюдо с обедом.

– Алим, что-то Оли не видно.

– Она на кухне.

– Знаю, что на кухне. Почему она с нами за стол не садится?

– Не подобает ей. А кто будет готовить, подавать, убирать?

Сакина повернулась в сторону кухни:

– Оля, иди сюда! Не слушай ты его!

Но невестка, окруженная журчанием воды, шипением сковородки, бульканьем кастрюли, ее не услышала. Да и потом, какая разница, услышала она или нет. В этом доме главный – Алим, и он увидел, что дядина жена позаботилась об Оле и даже к столу пригласила.

Шел девятый день пребывания гостей и это был девятый звонок из Баку. Дядя волновался за свою семью.

– О! Снова Баку! – на этот раз Сакина с Халидой заговорили хором и, одновременно вскочив со своих стульев, побежали в прихожую.

Алим даже бровью не повел: «Позовут, пойдет, не позовут – будет сидеть». В первые дни на звонок дяди он тоже бежал. Стоял, ждал, когда и до него дойдет очередь. Просил Сакину после своего разговора и ему трубку передать. Потом Халида долго и подробно отвечала на дядины вопросы, а Алим шептал ей на ухо, чтобы та потом дала и ему переговорить с дядей, не шутка, три года с дядей словом не обмолвился, а его услышать хочется. Да и дядя обидеться может. К тебе издалека, из Баку, звонят, а ты и со стула подняться не хочешь: неуважение это.

Обычно Сакина торопила дочь:

– Быстрее! Заканчивай! Там деньги идут!

Алим делал вид, что не слышит.

– Хватит, передай трубку Алиму! Ну, а ты что стоишь, возьми трубку, поговори.

В первый же день разговор с дядей был коротким:

– Здравствуйте дядя, как вы?

Тот вместо ответа спросил:

– Как наши доехали? У нашей ханым ноги не болят?

– Клянусь богом, не спрашивал… А как вы поживаете, как ваши дела?

– Смотри, парень, ты за них в ответе! Если с них хоть один волосок упадет, пеняй на себя.

– Будьте уверены! Будьте уверены! Как бабушка?

– Ну о своих делах в письме подробно напишешь. Будь здоров.

В трубке раздались отбойные гудки.

Уже три года, как Алим уехал из Баку. Уехал, потому что на заводе, где он работал, руководство разницы между работающими и неработающими не делало. Получалось, хоть сто лет работай, грызи землю, толку нет, продвижения не было.

В этом году он впервые после переезда в Москву получил от дяди одно-единственное письмо. Дядя не вспоминал его ни на новогодние праздники, не поздравлял Олю с 8 марта, а в этом году вдруг накануне Дня советской армии и Военно-морского флота прислал поздравительную открытку, причем с поздравлением к празднику великого Октября. Перепутал немного праздники. Праздники праздниками, но дядя искренне, от всей души поддержал его переезд в Москву: «*В Баку по-человечески жить невозможно. Люди грызутся. А Москва… разве можно перечислить все ее достоинства?! Туда уезжают необразованными, невежами, а возвращаются профессорами. Иди вперед, племянничек, а мы будем смотреть и гордиться!*»

Поздравление дяди не обрадовало Алима, так как оно было запоздалым. Жизнь в Москве для него давно стала обычным явлением. Совсем другое дело, если бы это было бы написано в первый год, когда он только переехал сюда.

После поздравления дядя сообщал Алиму, что не получил ни одного письма от племянника, чтобы тот не подумал, что дядя ленится писать родному человеку.

«Тогда откуда он знает, что я два года подряд пишу ему письма?»

Послание завершалось словами:«*В конце весны, в начале лета я пошлю к тебе Сакину и Халиду*».

Самое главное, суть сообщения – воспитанные люди пишут не в начале письма, а в конце, причем, мелким шрифтом!

Во время телефонных бесед Алим в знак уважения стоял возле гостей, даже если не было надежды самому поговорить. Пускай потом, рассказывая все дяде, не говорят, что племянник твой невежа. Когда разговоры о самочувствии переходили на женские вопросы, на одежду, Алим, чтобы гости не робели, незаметно проскальзывал в комнату. Но в этой квартире не было угла, куда бы голоса родственниц не доходили.

– …Конечно, импортные! Мы что, местные шмотки одевать будем, ты что, издеваешься надо мной? Тебя плохо слышно… Это в конце! Скоропортящиеся продукты в конце!

Связь прервалась, Сакина заворчала:

– Видишь да, и это Баку!

Запахи, исходящие из кухни, сообщали о блюдах, которые готовила Оля.

– Ну как там? Что говорит?

– Так толком поговорить не удалось. Тебя спрашивал.

– Спасибо ему!

– Всегда приветы передает. Да не при тебе будет сказано, он тебя очень уважает… Оля что, умерла там на кухне?

Телефон вновь зазвонил.

– Ты будешь скучать без нас!

Алим поднял трубку.

– Здравствуй, дядя!

И услышал приказной тон:

– Покажи им всю Москву. Отведи их в поместье графа Юсупова. У них глаза на лоб полезут.

– Алим, короче. Сейчас связь прервется, – не выдержала Сакина. – Халида, и ты долго не говори. Там деньги идут. Ты, Алим, можешь поговорить подольше.

– Передаю Халиде! – Алим покорно передал трубку.

– Папочка, родной, какой у тебя размер шеи?

Сакина, приставив рот к трубке, крикнула:

– Эй, вышли немного денег! Слышишь?

Гости с сияющими от улыбок лицами вернулись к столу.

– В этот раз говорили как настоящие москвичи – не растягивали.

– Ах, мама, не расхваливай ты тоже москвичей. Если вдоволь лясы не поточить, то какое это удовольствие?!

Сакина повернулась в сторону кухни и крикнула:

– Оля, может, придешь и сядешь с нами! Ты ставишь нас в неловкое положение! – она прекрасно знала, что Оля ее не услышит. Но самое главное – это Алим, и он увидел и услышал, какая сердобольная и культурная жена у его дяди. – С тех пор, как приехала, я толком нашу невестку и не видела, – сказала она, глядя на Алима.

– У папы размер шеи, как у Алима.

– Что ты несешь? У папы шея потолще будет.

В это время Оля подала на стол аппетитную жареную курицу.

– Бях, бях! Оля, ты нас совсем избаловала.

– О чем говорить, когда еда на столе остывает? – Алим на правах хозяина начал разрезать курицу.

– В Баку типа телефонные номера стали обновлять. Забирают, к примеру, мой номер и передают тебе, а твой еще кому-нибудь. Идиоты!

– Дядя попросил, чтобы я повел вас по музеям.

– Скажет тоже, делать нечего!.. Знаешь, куда поведи нас, тогда мы тебе точно спасибо скажем, – туда, где шахи хранили свои драгоценности.

– Не шахи, а цари.

– Пускай будут цари. Есть такое место?

– Пойдем и туда.

– Я же говорила тебе, что есть! – Сакина ухмыльнулась, довольно посмотрев на дочь. – Собственными ушами слышала.

– Мы обязательно должны пойти туда, куда дядя сказал!

– Ради тебя – пожалуйста! Потеряем ради тебя один день.

Совсем недавно Алим вручил Оле записку, в которой крупными буквами записал адрес своей деревни и братьев. Кто знает, что может произойти; человеческая жизнь гроша ломаного не стоит. Если вдруг что-то произойдет с ним, пусть всем телеграфирует. Он боялся только одного, что Оля потеряет эту записку. Ведь она такая рассеянная, довольно часто забывала, что куда кладет.

...Вернувшись вечером из похода по магазинам, мать с дочерью мылись. Купленные вещи горой лежали в прихожей. Услышав звонок из Баку, обе вылетели из

ванной.

– Алло?! Алло! Алло!.. Это папа, – Халида второпях прошептала матери. – Папочка, я тебя целую. Нет уже! Не болит! Москвы, наверное, испугался… Мама, он про твой зуб спрашивает.

Алим, облокотившись на дверь, молча смотрел на них: вдруг дядя захочет поговорить и с ним.

– Там деньги накручиваются, – сказала Сакина дочери, давая понять Алиму, чтоб не вздумал болтать много, если захочет говорить.

– Ну же, хватит! – она вырвала трубку из рук дочери. – Это я, слышишь… В музей? Отведет, не переживай. Разве можно не выполнять твои приказы?! Мы хотим посмотреть драгоценности шахов.

– Царей, – грызя ногти, пробурчал Алим.

Сакина отмахнулась, мол, ладно, царей.

– Возможно, на дом Юсифова времени не хватит. Конец месяца, в универмаге выкинут новые товары… Тьфу ты, снова ду-ду-ду.

Сакина, застегивая халат, вернулась в комнату.

– И это хваленое Баку!

– Садитесь, – сказал Алим, подвигая жене дяди стул.

– Москва – прекрасное место. Здесь есть все, чего только душа пожелает. Черт побери, хоть квартиру меняй!

– Давай поменяем! – обрадовалась Халида.

– Зачем, у Баку много преимуществ. Море под боком, – сказал Алим.

– Ай, Алим, зачем мне море?! Главное – сыта ли я, одета и обута ли! Море нужно человеку в году всего два месяца, в крайнем случае, три месяца.

Сакина вытянула ноги на стоящий перед нею стул.

– Дядя спросил о тебе.

– Спасибо.

– Ты и дома у него на устах.

…Вот и последний вечер.

– Ай, мои руки! Вай, мои ноги! – Сакина с мокрым от пота лицом вошла в прихожую, неся в руках большую коробку, с трудом опустила ее в углу прихожей. – Этот город нас убил! Все! Никогда больше без твоего дяди ничего тяжелого не куплю.

– Мама, ты все время попрекаешь меня! Я устала с утра тебе говорить, что кухонный сервиз будет тяжелым. Я-то в чем виновата?

– Приданое себе собирает, – прошептала Сакина Алиму на ухо. Потом громко спросила: – Звонков еще не было?

– Нет.

– Слушай, этот город может убить человека. Ему нет ни конца, ни края. Здесь сходи, туда садись, там сойди, здесь пересядь. Да и деньги утекают, как вода.

...Вот и девятнадцатый звонок. Оказывается, Алим все двадцать дней считал дядины звонки.

– Да, завтра, даст Бог, мы будем в Баку. Много, много у нас багажа! Конечно, всё не пропустят. Впихнем тем, кто едет налегке… Алим, дядя тебя зовет к телефону.

– Алло…

– Алим, детей на самолет непременно сам посади! Слышишь?

– Здравствуй, дядя!

– Пускай то, что может поломаться, возьмут с собой, даже если тяжело, как ручную кладь. Имеют на это право. Остальное пусть сдадут в багаж! Слышишь? О своих делах подробное письмо напиши. До свидания.

– Дядя, музей, о котором вы говорили, оставим на следующий раз, потому что…

В трубке послышались отбойные гудки.

– Видишь, Халида, как недели быстро пролетели!.. О каком музее твой папа говорил?

Халида упаковывающая в другой комнате покупки, вопроса матери не услышала.

– Ай, Халида, – Сакина окликнув дочь, прислушалась.

– Что?

– Принеси те плащи, пускай твой двоюродный брат прикинет, сколько они стоят.

Увидев, что дочь медлит, Сакина сама встала и пошла за ней. Алим в это время проскользнул на кухню, чтобы посмотреть, что можно перекусить. Оля даже не взглянула в его сторону, потому что Алим предупредил ее: «Даже если ты подохнешь, я не нарушу обычаи наших отцов и дедов: в готовке, в стирке, в уборке я тебе в эти дни не помощник».

– Что нос повесила?

– Почему ты мне не помогаешь?

– По-моему, мы с тобой об этом говорили.

– Неужели трудно тебе помочь мне хоть немного?

– Я не могу опозорить свой род, занимаясь женскими делами, пойми, наконец!

– Алим, иди, посмотри! – послышался из комнаты голос Сакины.

Он прошел в комнату и лишь тут ощутил, какой на кухне стоял удушающий запах.

– Оля, открой там форточку!

За окном шелестели верхушки деревьев – оказывается, и в Москве может дуть ветер.

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО

БАХЫТЖАН КАНАПЬЯНОВ
(Казахстан)

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

Выдающийся русский поэт Арсений Александрович Тарковский родился 12 июня 1907 года в городе Елисаветграде Херсонской губернии. Отец будущего поэта – Александр Павлович Тарковский (1862-1924) был служащим Елисаветградского Общественного банка, внештатным журналистом местных газет. В начале 80-х годов являлся одним из организаторов народовольческого кружка, за что был сослан на пять лет в Восточную Сибирь. Мать – Мария Даниловна, урожденная Рачковская (1867-1944), была учительницей.

Начинающий поэт вместе с отцом посещает в 1913-1914 годах поэтические вечера Игоря Северянина, Константина Бальмонта и Федора Сологуба, а в 1925 году поступает в Москве на первый курс Высших Литературных Государственных курсов при Союзе поэтов. И здесь знакомится с поэтом и теоретиком стиха Георгием Александровичем Шенгели, который во многом определил дальнейшую судьбу поэта и переводчика, хотя после прочтения в Ленинграде своих ранних стихов известному мэтру Федору Сологубу молодой поэт услышал в ответ неутешительный вердикт: «У вас плохие стихи, молодой человек, но не теряйте надежды, пишите, возможно, у вас что-нибудь и получится».

В эти годы А.Тарковский начинает сотрудничать в газете «Гудок» как автор судебных очерков и стихотворных политических фельетонов, сотрудничает он и в журнале «Прожектор». В один из дней 1931 года на квартире Рюрика Ивнева молодые поэты Н. Берендгоф, А.Тарковский, А. Штейнберг читают свои стихи Осипу Мандельштаму. В эти же годы А.Тарковский работает на Всесоюзном радио и, возможно, под влиянием ярого экспериментатора поэтической формы в жестких рамках зарождающегося «соцреализма» Ильи Сельвинского пишет поэму «Стекло», которая транслируется по Всесоюзному радио 3-го января 1932 года. В этот же год, 4-го апреля, в семье Тарковских родился сын Андрей, в будущем ставший великим кинорежиссером второй половины двадцатого столетия.

Г. А. Шенгели, являясь сотрудником отдела издания литератур народов СССР, привлекает к работе над переводами молодых поэтов, в числе которых были С. И. Липкин, М. С. Петровых, А. А. Тарковский, А. А. Штейнберг, Л. А. Озеров. С этих пор высокопрофессиональные поэтические переводы Арсения Тарковского стали основой его литературной деятельности, зачастую «*эксплуатирующую его версификаторские возможности в ущерб оригинальному творчеству поэта*».

В канун войны Тарковский знакомится с Мариной Ивановной Цветаевой, посвящает ей цикл стихотворений. Несмотря на то, что медицинской комиссией он признан негодным к воинской службе, Арсений Тарковский неоднократно обращается в Секретариат Союза писателей с просьбой отправить его в действующую армию, на фронт, и в конце декабря 1941 года получает назначение в редакцию газеты «Боевая тревога». Как военный корреспондент находится на передовой и принимает участие в военных действиях Московского, Брянского и Первого Балтийского фронтов. В 1943 году в звании капитана получает тяжелое ранение и в военном госпитале переносит ампутацию

правой ноги... В победном 1945-м готовит книгу своих стихов для издательства «Советский писатель», однако после известного постановления ЦК ВКПб «О журналах «Звезда» и «Ленинград» матрицы первой книги «Стихотворения разных лет» уничтожаются, и первая книга стихотворений Арсения Тарковского «Перед снегом» выходит только в 1962 году в том же издательстве «Советский писатель» тиражом 6000 экземпляров.

В печально знаменитом 1946-м в доме Г. А. Шенгели и его жены, поэтессы Н. Л. Манухиной, Тарковский знакомится с Анной Андреевной Ахматовой, а в последующие годы по несколько месяцев живет в Ашхабаде, Фрунзе, Ташкенте и в Нукусе, плодотворно работая над переводами произведений классика туркменской литературы Махтумкули и тюркоязычным эпосом «Сорок девушек».

27 мая 1989 года Арсений Александрович Тарковский скончался в Москве, в Кунцевской больнице. В том же году, в ноябре, постановлением Правительства СССР поэту посмертно присуждается Государственная премия.

Арсений Тарковский, несмотря на «*адову эпоху*» второй половины двадцатых годов и последующих лет прошлого столетия, сохранил во всем своем образе жизни и, в первую очередь, в своем поэтическом творчестве великое благородство в становлении своего независимого творческого мира и поэтического дара, причем это благородство не напускное, не внешнее, а глубоко внутреннее, на «молекулярном уровне», в силу природной интеллигентности творящее тот самый свой несравненный лирический микрокосм, который, по утверждению Юрия Кублановского, автора предисловия к одному из посмертных изданий А. Тарковского, не исчезнет, пока существует поэтическая словесность: «*С органическим мастерством и упорством выбирал он из хаоса лирически совершенную речь, существующую, кажется, изначально, но по-новому фокусируемую в реальность каждым настоящим поэтом. Ведь стихотворчество не столько рождение, сколько высвобождение организованной речи: как скульптор, убирая лишнее, организует породу каменной глыбы – в форму, так стихотворец очищает слово от наносов небытия*».

Откуда идет это благородство, ведь не на пустом месте оно возникло в «суровое время симбиоза нэпмановской пошлости, с новой идеологией относительно свободы предпринимательства, с застенками ГПУ, в «*самый двусмысленный и фальшивый*», по утверждению Б. Пастернака, период?

Откуда это благородное отчуждение музой А. Тарковского всего того, что являлось наносным, включая и всевозможные «измы»: авангардизм, конструктивизм, социальный заказ?.. Это все, чуть тронув лирику поэта в начале его творческого пути, им же и отвергалось, не находя своего места в лирической Вселенной поэта. А ведь был соблазн, да еще какой – перевести (разумеется, по указке свыше) «грузинские стихи» Кобы, и, по одной из версий или легенд, эти переводы, якобы, даже существовали, но по неизвестной причине так и не увидели свет. (И, как говорится, слава Всевышнему, что миновала «сия чаша» поэта, а следовательно, и нас, его благодарных читателей.)

Думаю, что внутренняя свобода творчества, когда муза поэта на десятилетия была отлучена от читателя и слушателя, берет свое начало от кровных и родовых связей. Корень фамилии Тарковских берет свое родовое начало в нынешнем Дагестане. Тарковский шевкал (или шамхал) Адильгерей – правитель кумыков или «крымшах». Крым – местечко в Дагестане на реке Алазань, впадающей в Куру, а Тарки – небольшой город с крепостью, расположенный на торговом пути из Поволжья в Закавказье и Иран, резиденция шевкала. Об этом можно прочесть у русского историка Сергея Михайловича Соловьева в главе «Петр Великий на Каспийском море». О происхождении своей фамилии не раз говорил и сам Арсений Тарковский, называя это семейной легендой и

«охранной грамотой».

Творчество Арсения Тарковского оказало неоценимое влияние на поэтов моего поколения. Вспоминаю свою учебу на Высших литературных курсах в Москве в начале восьмидесятых. Однажды на наш поэтический семинар, который вели поэт Александр Межиров и критик-литературовед Станислав Лесневский, пришел Арсений Александрович. Некий божественный свет исходил от самого чтения стихов поэта. Обычно при визите известных поэтов Москвы на наш семинар, будь то А. Вознесенский, Е. Евтушенко, К. Ваншенкин, С. Поделков и другие, мы, семинаристы, не только слушали, но и читали свои стихи. А здесь, не сговариваясь, отказались от подобного чтения, несмотря на просьбу Арсения Тарковского, и слушали только его, поэта, интонация которого была впитана нами задолго до этого, может быть, со времени легально-полулегального показа фильма его сына «Зеркало». В этот вечер Арсений Александрович, помимо чтения стихов, много говорил об украинском философе и поэте Григории Сковороде. Чувствовалось, что поэт в то время жил этим. С улыбкой показал новую книгу своих стихов, только что вышедшую в издательстве «Современник»; где художник изобразил поэта чуть ли не в «толстовке». Ласково спрашивал нашего мэтра, Александра Петровича Межирова: «Саша, может, достаточно?..» На что руководитель семинара, видя притихшую аудиторию, только разводил руками.

Выход первой книги стихов Арсения Тарковского счастливо совпал с триумфом фильма его сына, кинорежиссера Андрея Тарковского, «Иваново детство», за который он в 1962 году получил Гран-при Венецианского кинофестиваля. Не знаю, быть может, пресловутая «хрущевская оттепель» тому виною, но 1962 год был поворотным и в судьбе поэта, и в судьбе его сына. Затем были «Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер» и, разумеется, «Зеркало». Убежден в том, что далеко не случайностью и не прихотью режиссера-мастера стало само присутствие стихов поэта в этом фильме. И даже не присутствие, а впитывание этих стихов тканью экрана. Это нисколько не фильм-альбом, это, скорее всего, фильм-книга. Родовая книга фамильного гнезда, когда бытие воспринимается и ощущается слушателем и зрителем в «*нерасторжимом единстве, а личность лирического героя – как микромир, вмещающий в себя все элементы: от космических до глубоко кровных и родовых*» (Ю.Кублановский). Я бы еще добавил, что создатель «Зеркала» остался верен мировосприятию отца-поэта:

…Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной. Я младший из семьи
Людей и птиц, я пел со всеми вместе
И не покину пиршества живых –
Прямой гербовник из семейной чести,
Прямой словарь из связей корневых.

И здесь уже присутствует вышедший из фамильной легенды-были образ той самой русской интеллигенции, которая всегда была проста по своему житию и всегда была и остается великой по своему творческому и созидательному содержанию.

Когда летом 1976-го фильм «Зеркало» без афиш и без рекламы впервые показали в Алма-Ате в кинотеатре «Алатау», известный кинооператор Михаил Федорович Аранышев, имеющий в своей творческой судьбе много черт, схожих с теми, о которых говорилось выше, сказал мне, глядя на многочисленных людей, идущих к дверям кинотеатра: «*Есть некий нерв в нашем обществе, который в мгновение ока дает о себе знать. Даже если бы этот фильм показывали только в каком-нибудь районном центре, люди все одно узнали бы об этом... И устремились бы туда*».

Думаю, что само незабываемое восприятие фильма очень образно показал поэт Бахыт Кенжеев, в то же самое время написавший свое посвящение Арсению Тарковскому и испытавший в своем раннем творчестве божественное влияние его поэтической музы.

Пощадили камни тебя, пророк,
в ассирийский век на святой Руси,
защитили тысячи мертвых строк –
перевод с кайсацкого на фарси.

Фронтовик, сверчок на своем шестке
золотом, поющий что было сил,
в невозможной юности, вдалеке,
если б знал ты, как я тебя любил,

если б ведал, как я тебя читал –
и по книжкам тощим, и наизусть,
по Москве, по гиблым ее местам,
а теперь молчу, перечесть боюсь.

Царь хромой в изгнании. Беглый раб,
утолявший жажду из тайных рек,
на какой ночевке ты так озяб,
уязвленный, сумрачный человек?

Остановлен ветер. Кувшин с водой
разбивался медленно, в такт стихам.
И за кадром голос немолодой
оскорбленным временем полыхал.

В этом году исполнилась очередная юбилейная дата со дня рождения Арсения Тарковского. Я рассматриваю эту свою статью, как дань глубокого уважения к человеку, отдавшему большую часть своего поэтического творчества классическим переводам восточной поэзии.

ЛЯМАН БАГИРОВА

Мольба зеркала (Венок сонетов)

1

Я – зеркало. Меня не разбивайте.
Из темного овала грустных граней
Смотрю на вас я вашими глазами,
Не думая о боли и расплате
Порой смеюсь. За то не осуждайте.
Улыбка может быть залечит раны,
Молящие о вкрадчивом обмане,
И облачит в опустошенность власти
Лучом печальным вас я не нарушу,
Не обовью желаньями благими
И не прольюсь тяжелыми слезами
Ведь отраженье не заглядывает в душу.
Но все, что есть и что когда-то будет,
Таит в себе упругой силы камень.

2

Таит в себе упругой силы камень
Тень легкую улыбки. Но былое
Встает над ней невымолвленным словом,
Слегка оправившись от расставаний.
Глаза тускнеют. Но еще устало
В них льется свет задумчивый и строгий,
Последняя свеча души убогой,
Последних звезд и веры колыханье.
Стекло пылится радостью старинной,
Покрыто давней паутиной счастья,
Оно живет знакомым ожиданьем,
Мечтою о несбывшихся любимых,
В горниле темном горечи и власти -
И мощь любви, и сладость очертаний.

3

И мощь любви, и сладость очертаний
В моей душе вулкан не пробуждают.
Но боль клокочет, бьет и не смолкает
Застывшим эхом нЕбывших свиданий.
Мне ни к чему не приложить стараний,
И руки тонкие когда-нибудь растают,
Когда-нибудь, подобно птичье стае.
В ажурном сумраке ласкающих преданий

Неверный свет мерцает и струится,
И кажется таким далеким имя,
И душу не заковывают в платье.
Но в горьком сердце радость не селится,
И, также как тоска, неодолима
И очарованность ночных заклятий.

4

И очарованность ночных заклятий
Растворена в невидимых пределах.
Но яркой искрой вспыхивает тело,
Забывшись в безысходности объятий,
Звенит в струне мгновения и счастья.
Но ноты кроткие ведут свой ряд умело.
Тиши певучей плачущие стрелы
Слетают в вечность песней об утрате,
Зарей далекой погасает нежность,
Светлеют отраженья в зыбких тенях,
В безвольном ритме бешеного танца
Рождается величие пустыни.
В нем гордость постоянного паденья,
Во мне – надменность величавой стати.

5

Во мне надменность величавой стати,
Привычка давняя искуснейшего вздора,
Тяжелый страх неотвратимой ссоры
И долгий ужас каждого проклятья.
Постигнуть сущность серебристой глади
Вам не удастся. Бесполезны споры.
Смешны нелепые, ничтожные укоры.
Бросаю их. Ну что же! Совладайте!
Величие достоинством в усмешку,
Свободы неоправданное чванство,
Платить не нужно непосильной дани,
Ликуй душа! Ликуй же и не мешкай.
Увы не отличает постоянство
Порывистость, веселье, гордый пламень.

6

Порывистость, веселье, гордый пламень
В волшебном вихре кружат вальс игривый.
Приличья отступают чуть стыдливо,
Поддавшись буре суетных желаний.
Сегодня зеркало играет снами,
Сегодня бал, пленительный и милый,
Волной безудержной, огромной силы,
Сегодня все меняются ролями:
Здесь простодушье облекается в усталость,
А хитрость в ум. Все в карнавальных масках.

И все обличья выбирают сами.
А зеркало, как прежде, опоздало.
И вновь молчанье в потемневших красках,
И жало одинокое страданий.

7

И жало одинокое страданий –
Мечты далекой признак совершенства –
Несет с собою зыбкое блаженство
И вечную незащищенность раны.
Несмелая улыбка детской тайны
Подернута старательным кокетством,
В зеркальной глади оставляет след свой,
И ей молюсь поблекшими устами.
Стеклу слепому не просить прощенья,
Лишь долгой нежностью мерцают свечи,
Все ждут мечтой обещанные сласти.
Все ждут. Но не находят воплощенья.
Любовью давней вздрагивает в ночи
Сожженный крик неутолимой страсти.

8

Сожженный крик неутолимой страсти!
О, сколько солнц в твоих руках прозрачных!
Еще не живших, но уже безгласных,
Дробящихся на крохотные части.
Пристрастья нет ни в горечи, ни в грусти.
Уныние влечет игрой опасной,
Неистребимо-терпким и прекрасным
Кружит огонь немыслимого счастья.
Хочу бежать от призрачного дара,
Жестокой осторожности примета.
Тоски, печали, ночи триединство
За безразличье и достоинство, и кара
В былой бесстрастности взрываются планеты,
Пророчества, насмешки, боль ехидства.

9

Пророчества, насмешки, боль ехидства –
Янтарной цепью окружили руки,
Смыкается кольцо, вбирая звуки,
И вот стена… Все чисто, чисто…
Здесь быть не может страха и бесчинства,
Стихийности, разгула, быстрых стуков,
Молчит стена. И все же мука
В ее глазах, молящихся на чувство,
В ней тихий трепет срубленного ветра,
Ночь без рассвета, пустошь равнодушья,
Плечам в янтарной шали не согреться,
Но червь надежды весело и смело

Готовит вихрь смятенности, удушье,
На дыбе ярости натянутое сердце.

10

На дыбе ярости натянутое сердце,
В движеньи каждом ропот озлобленья.
Не это ли достойно осужденья?
Не в этом ли измена совершенству?
Дела и разум обратились в бегство,
Лишь сердца грохот в бешеном стремленьи...
Божественную пропасть нетерпенья
Уже не променять на призрак детства,
Стоите вы за верною чертою,
И все ж ответьте, люди, если можно,
За что вы отражать мне дозволяли?..
Молчите? Что же... Ни одной слезою
Не поступлюсь. Во мне союзом сложным
Текучесть вод и нерушимость стали.

11

Текучесть вод и нерушимость стали
В неистовстве единого напора
Дыханием забытого задора
Лучом священным зеркало создали.
Мелодию струящейся печали,
Неясную проникновенность взора
И соразмерность четкого узора
На долгий путь в наследство передали.
Оно живет, не думая о чуде,
Весь мир отображая отрешенно,
И лишь душа все не находит места
В земной, веселой, разноцветной груде.
Ей пристанью одна опустошенность
И исступлением подсказанные средства.

12

И исступлением подсказанные средства,
Змеиного изящества секреты,
Вы рождены придуманным обетом
По всем законам сказочного действа,
В зловещем тяготении к кощунству.
Под жалкий хруст растоптанных заветов
Парит душа. И что ей все советы?
Она творит последнее блаженство.
Страданье, милосердие, забота -
Вот три руки, что просят подаянья,
Но ей не различить их. Только сердце
Опять иссушит скрытая работа
Предчувствием знакомых испытаний,
Мольба о безнадежности и смерти.

13

Мольба о безнадежности и смерти –
О, колдовская пропасть безрассудства,
В усталости потопленные чувства!
Быть может, трудно мне поверить. – Верьте!
Мне нет вины, я невиновна, люди!
Но даже если есть вина за мною,
Простите мне ее, не дав с собою
На сердце унести. Ведь мы не судьи.
Опять душа как мелкие осколки,
Опять их собирать в единый образ.
Я соберу, я встану, я не сдамся.
Но только сил немного, они ломки,
И все же, все же сохранит их гордость.
Вот – зеркало. А вы себя узнали?

14

Вот – зеркало. А вы себя узнали?
Свою тоску, надежду, отрешенность,
Нелепую отвагу, осторожность,
Иль, может, сами их не замечали?
Лучистостью бессмертного овала
Приду я к вам. Моих движений стройность
Не изменить. И не позволит гордость
Мне вспыхнуть в ожидании удара.
Остановить размеренную поступь,
Предохранить от неизбежной боли,
От света защититься не пытайтесь.
Когда ж последний растворится отзвук,
Погаснет все; одной прошу я доли –
Я – зеркало. Меня не разбивайте.

Магистрал

Я – зеркало. Меня не разбивайте.
Таит в себе упругой силы камень
И мощь любви, и сладость очертаний,
И очарованность ночных заклятий.
Во мне надменность величавой стати,
Порывистость, веселье, гордый пламень
И жало одинокое страданий,
Сожженный крик неутолимой страсти,
Пророчества, насмешки, боль ехидства,
На дыбе ярости натянутое сердце,
Текучесть вод и нерушимость стали,
И исступлением подсказанные средства,
Мольба о безнадежности и смерти.
Вот – зеркало. А вы себя узнали?

АРИФ ГУСЕЙНОВ

ЗАПИСКИ ПУНКТИРОМ

Часть I

Продавец зелени

Вечером покупал у зеленщика, сидящего на углу улицы, зелень. И потом среди ночи, когда я просыпался и отчасти во сне, почему-то думал о нём. Я думал о нём и прежде, когда проходил мимо, потому что подкупала его внешность, благородная внешность. А когда я с ним говорил, тембр его голоса свидетельствовал о благородной тональности души; то была музыка из одной ноты, в которую облекались слова, не претендующие ни на что, кроме места, которое он занимал в жизни. Но какое же место он занимал в жизни? Незаметное. Сидя на улице над котомкой с зеленью, не завидуя никому, он кротко выполнял свою скромную миссию. Он именно словно выполнял миссию, как Христос, потому что не завидовать никому в том положении, в котором он находился, то есть в самом незавидном, казалось со стороны миссией. Хотя его слова были просты, как будто он жил так же, как все, лишь немного отличаясь от других. Ну и что, если он сейчас сидит на улице в старой одежде и с небритой бородой, а другие проходят мимо него в тёплой одежде, чтобы купить продукты в магазине рядом… Господь всё так определил, и он не жалуется, и смотрит по сторонам кротким, ласковым взглядом, чтобы встретить приветливо своего покупателя. И даёт ему выбрать, что он хочет, неспеша, и мне кажется, что он далёк от мыслей о прибыли и думает о покупателе больше, чем о себе… И это поражало, зачем же он тогда сидел здесь, на улице, подложив под себя камень, в одной и той же позе, чтобы заботиться о тех, кому нужен его товар? Эта его деятельность вызывала с непривычки даже некоторое замешательство, а потом те, кто уже привык, принимали его вместе с товаром, как нечто необъяснимое, вроде курьёза – мало ль в жизни необъяснимых явлений; к тому же, может быть, ему приятно было сидеть на свежем воздухе и обозревать прохожих… Да мало ли что… Но при разговоре с ним обнаруживался **человек**, и столь кроткий, тонкий, благородный и не претендующий ни на что чужое, что, казалось, мир перевернулся, если человек – во многих смыслах этого слова, которых так не хватало другим, – сидел здесь на камне улицы. А те, другие, у которых вместо всех этих смыслов была, в лучшем случае, брешь белая, а в худшем – чёрная, ходили вокруг него и были заняты своими делами.

– Тебе не холодно так сидеть по полдня на улице? – спросил я его.

– Снизу у меня бельё, двойное; а так я больше боюсь жары. Жару я плохо переношу, а холод – это по мне. Друзья мне говорят, тебе бы надо родиться рыбой, ведь я и рыбу люблю, и всё прохладное…

– Но всё ж береги себя, не застудись; вставай и ходи.

– Да, я иногда встаю и прохаживаюсь. А так, что делать, приходится сидеть, это моя работа, чтобы заработать на хлеб…

– В прошлый раз ты мне дал прекрасную молодую зелень, пучок сельдерея; не осталось такой?

– Нет, закончилась; осталась только такая, знаешь, большая и грубая…

– Нет, её-то я не могу есть, а та была замечательная…

– Её привозят из Масаллы; как привезут, оставлю тебе пучок.

– Ладно, благодарствую; будь здоров…

– И я благодарствую…

Мне удивительно было, что он никак не пытался выделиться из «усреднённости» улицы, где он занимал даже не среднее, а более низкое положение; и не такие, как он, исчезали в этом мареве улиц. Но в то же время он сохранял своё положение на этой низшей ступени, где он находился, и не опускался ниже. Нет, он достойно держался на этой ступени, дорожа всеми её преимуществами; сознавая вполне, что он не был, к примеру, уличной кошкой или мусорным баком, который стоял совсем неподалёку. Конечно же, он не был и теми, кто мыл свои машины или выходил из магазина, на пороге которого он сидел, с набитыми сетками, но он и не хотел этого. Ему было любо его положение сидящего на камне человека и предлагавшего всем, кто в этом нуждался, зелень. И те, кто подходили к нему, заинтересовавшись его товаром, ощущали человеческое тепло, исходящее от его лица и голоса, и понимали, что перед ними сидел человек – нет, не торговец, – человек, который в том положении, в котором он находился, предлагал зелень. И они забывали и о том, где он сидел, и о ветхой его одежде, ведя разговор только с ним – с человеком, которым он был.

Улица, как известно, нивелирует нас, превращая в прохожих, а его прижала к камню на тротуаре у входа в магазин, на котором он сидел. И он не обозлился на эту особенность улицы, на которой половину каждого дня жил. Нет, улица не превратила его в камень или стену, на которую он опирался, когда сидел, – и только потому, что он не обозлился на неё. Он понимал, кажется, и улицу, и эту особенность её превращать людей в движущуюся массу, а его – в чёрное пятно, распятое на стене у входа в магазин. Но когда с ним заговаривали, оживал не только он, но и тот, кто с ним говорил, выделяясь из толпы присущей ему индивидуальностью. И уже на улице говорили два человека, а не прохожий и продавец. Мы боимся этого свойства улиц – превращать нас в ничто, и поэтому берём в спутники кого-нибудь, выходя, как обычно, на прогулку, чтобы не окаменеть, не онеметь, проходя мимо высоких зданий или на берегу воркующего моря. Он же создал вокруг себя знакомых, благодаря которым жил, и пробуждал в них, в свой черед, тёплые чувства. Мне казалось, когда я подходил к нему и заговаривал, замечая в нём негаснущую симпатию и человечность, что за ним разверзался другой мир, которого мы не видели, как в сказке о Буратино существует потайная дверца, скрывающая за собой другую реальность, представителем которой он являлся. И этот мир отличался от нашего тем, что был менее продажен, суетен, и его представители, такие же, как и продавец зелени, скромные и достойные были люди. Вообще любой интересный человек – притвор в иной мир, заселённый другими существами, непохожими на нас; иногда тот мир светлей и справедливей, чем наш. А мир снов – совсем иной; он искривляется по нашей прихоти.

Силе, с которой улица нивелировала находящихся на ней прохожих, продавец зелени противопоставлял свою внутреннюю силу, поднимаясь в моих глазах, когда воображение исключало эту внешнюю силу. И тогда он разрастался и становился, подобно Будде, выше крыш одноэтажных домов на нашей улице. И словно он теперь был лучше виден, со всем своим внутренним миром и ясным выражением на лице.

«Как бы он не простудился, – думал я, – сидя так, почти что недвижно на придорожном камне». «Но я одет снизу хорошо, двойным слоем», – говорил он. И я, конечно же, не хотел, чтобы это волшебство исчезало. «Он играет со смертью, – думал я, – ведь если холод проникнет в какой-нибудь его орган, кто спасёт его тогда от беды?» Неужели же он нравился мне только тем, что открыто бросал вызов смерти, ведь никто, кроме него, не сидел так, прямо на улице. Кто бы мог усесться без тёплой одежды рядом с ним, чтобы разделить его участь, занять беседой?... Кто бы мог это сделать?... Думаю, что никто, и вряд ли я… Мне не достало бы смирения, да и замёрз бы я… А он сидит так ровно, будто исполняет высшую миссию…

Каждый человек, в силу своей физической особенности, живёт в пространстве, которое занимает его тело (чему равны размеры этого пространства и какова его геометрия, мы не знаем), и, конечно же, оно отлично от того пространства, которое, в силу своей физической индивидуальности, занимает другой человек. Язык может передать лишь явления, общие для разных людей. Но как передать то, что является особенностью каждого человека, как это передать? Тоже с помощью языка. Язык состоит из элементов – слов. И, меняя последовательность этих элементов, можно получить информацию об индивидуальных особенностях каждого человека, как передаётся информация посредством цифр в двоичной системе исчисления. Ведь пьесы Чехова отличались от комедий Шекспира только последовательностью, в которой использовались одни и те же слова! Оставалось только составить требуемую в данном случае последовательность. И кажется, что, погрузившись в человека – если это каким-то чудом удастся – мы изведаем другой мир, захватывающий и интересный… Но стоило только заговорить тому человеку, как мы вновь погружались в привычный и надоевший нам мир. Потому что человек этот не нашёл тайны своего естества или боялся раскрыть его и поэтому пробавлялся общепринятыми фразами, которые не только не раскрывали его, но и уводили далеко в сторону …

Я прислушиваюсь иногда к разговорам прохожих, когда выхожу на прогулку, и в основном это хлам, мусор, которого полно в мире; правда, за редкими исключениями, когда услышишь что-то трогательное… И это оттого, что люди не могли сказать, что их на самом-то деле волновало, из-за мусора, который их окружал, и в котором они погрязли, и оттого ещё, что они не находили последовательности слов, которая передала бы их мысли и чувства. И поэтому, как-то сказал продавец зелени, – «сжалишься порой и заговоришь с иным. А потом думаешь, на чёрта он к тебе привязался, когда ж, наконец, он уйдёт, чтобы вздохнуть и не слышать того, что он говорит, поскольку говорит он пустое … И я бы сказал, – продолжал он, – что только 10% людей едят хлеб божий, а остальные получают его от чёрта».

...И всё же я хочу вернуться к внешности человека. К геометрии, которая его определяет снаружи, а за ней – и мысли его, сны, весь его внутренний мир: фантазии, воображения, убеждения и т.д. Ведь мир этот определяется особым строем его телесной геометрии. Например, продавец зелени был смугл и тощ, то есть не претендовал на жизненное пространство других людей и был им готов уступить даже часть своего. Что ещё? Он был костляв и высок, с развевающимися волосами, и напоминал нищих с картин Пикассо; те тоже были сжаты в тонкие жерди перед грозными бурями жизни. Но как он думал, говорил, находясь в своём теле и пользуясь этими губами, ушами, глазами?...

Нищий

Я видел нищего, который был и выше ростом, и достойней, и красивей меня. Он благодарил меня с человеческим достоинством в лице, стоя на тяжёлых костылях и на голову возвышаясь надо мной. И я думал, что если он сохранил в себе достоинство, будучи в таком положении, то сколько же достоинства было в нём прежде, когда судьба благоволила ему. Ведь если бы, скажем, я был в его положении, а он – в моём, я бы был и ниже, и некрасивей, а достоинство моё, скорей всего, исчезло бы без следа. И уходя, я всё ещё думал, какая же сила позволила ему так достойно держаться в его положении; и контраст между этой силой и его положением меня сражал. И когда я оборачивал этот контраст против себя, чувствовал, как исчезаю под его давлением. Но он ведь не исчезал, а оставался, и оставался с присущим ему достоинством. Что мешало мне жить такой же жизнью улицы, что и нищий тот? Боязнь потерять своё крохотное достоинство, которое я с грехом пополам проносил по своей с виду бы более или менее респектабельной жизни. Ведь улица готова разорвать нас на части, отобрав последние крохи у нашего достоинства. Легко сохранить достоинство, когда ничто не теребит на улице – ни нищие, ни стихия. Но и тут слишком уж обеспеченное положение сулит крен в сторону ещё большего благополучия, и мы становимся жертвами уже собственной алчности. То есть, наверху мы стремимся ещё выше, а внизу удерживаемся, чтобы не пасть, и эти усилия отнимаются у нашего достоинства… И поэтому, когда я вижу зеленщика, дни напролёт сидящего на углу улицы с человеческим лицом, которое у него не в силах отобрать улица, я не могу не восхищаться этим зрелищем…

В глазах нищего, которого я видел на центральной улице, было больше смысла, чем в людях, к которым он протягивал руку за подачкой. Потому что они жили в достатке и, стало быть, находились далеко от того предела, где их ждала смерть. А значит, и не было той цели в их жизни, как в его, которая находилась на грани между жизнью и смертью. Его жизнь имела чёткую цель – протягивание руки. Чтобы не иссякали в нём силы, и жизнь его продолжалась бы столько, чтобы опять было возможно протягивание руки, то есть, та же чёткая цель в жизни. Тогда как в их жизни единственная цель – вложение ему в руку монеты, чтобы оправдать свою праздную ходьбу по улице. Разве с таким же трудом и унижениями им доставались деньги, как ему? Ведь многим из них деньги доставались просто так и не всегда по заслугам. А он служил для них возможностью оправдания в какой-то, пусть и малой степени наличности их кошельков. Если вы лишились человечности, обретая эту наличность, то, поделившись с ближним немного, вы частично вернёте свою человечность, как бы говорил нищий...

...Если аккуратно переписать день по страницам минут, сложить вдоль улиц и сшить по его перекрёсткам, если сделать это в должной последовательности, не забыв и об иллюстрациях к нему, то мы, конечно же, увидим и нищего, во весь рост стоящего на одном из центральных перекрёстков; его грузную фигуру, беспомощные ноги и голову, полную пережитых мыслей, а в ней его глаза, запавшие в глубину лица. А те, что снуют мимо него, это буквы в этой книге, центральной фигурой которой является он, нищий, поставленный своим положением над этой улицей, где у его ног бегут человеческие струйки. Огибающие его струйки из людской массы, которая проносится мимо него, не видя в нём человека, тогда как он собрал всё человеческое в них и превратил в себя. Он был всё то, чего не было у них. Они же думали, что у

него нет того, что есть у них, то есть, денег, забывая, что деньги – всего лишь бумажки, и они могли дать ему лишь эти бумажки. Но они не могли взять у него то, чего не было у них – человеческого содержания, которое приходит, когда остаёшься наедине с собой, и не от кого ждать помощи. Остаётся только один способ. Там, на самом низшем уровне социальной лестницы, мы все – просто люди. И, опустившись туда, на дно, можно почувствовать потоки человечности, собранные по каплям ото всех людей, и это похоже на то, как талые снега превращаются в реки. И эти общие для всех людей потоки стремятся к тому, кто ниже всех опустился, чтобы поглотить его. И поэтому он вобрал в себя всё, что в силу занятых ими в обществе мест – причём, чем выше, тем больше – было отнято у них. И они не могли взять у него то, чем он владел, так как никогда бы не сошли с завоёванных мест. А он всегда мог у них взять, что недоставало ему, правда, для этого ему приходилось стоять с большим трудом на своих почти что недвижных ногах. Но он в последнее время изловчился сидеть на металлическом заграждении; всё равно, кто даст, тот даст, невзирая на его позу, сидит он или стоит… А не даст, бог с ним… Он не может ради него встать; уж лучше сидеть, чем подачка от таких, которым важна поза, а не тот, кто не в состоянии её принять…

...Те из нас, кто наверху общественной лестницы, скрыты за непроницаемым щитом должности или известности. Среди них есть некоторые из знакомых мне деятелей искусства. И они скрыты за щитом известности: один – известный художник, а другой – известный писатель. Но и тот, и другой лишь номинальные художник и писатель, потому что облеклись в броню, которая защищает их от жизни. А те, кто внизу общественной лестницы, они ничем не защищены, и жизнь теребит и раздирает их своими вьюгами! Они открыты всем жизненным ветрам и стоят на улице, отдаваясь ей целиком. Вот они и есть настоящие художники, в ком жизнь расписывает свои сюжеты. На их теле, в их внутренностях. Она делает из их конечностей подставки для мольберта, а из лиц – картины. Одно такое содержательное лицо я видел недавно на улице. Оно благодарило меня за подачку, но было достойней и ценней моей подачки. Что меня ещё смутило – он был и гораздо содержательней моего случайного желания протянуть ему руку, помочь и даже говорить с ним, чтобы узнать о нём, его думах и заботах. Всё его содержание, как мне показалось, отпечаталось на его лице, и он не мог бы выразить его словами. Верней, что он мог выразить словами, было поверхностной оболочкой, а что было внутри, истинное содержание, было распечатано на нём, может быть, без его ведома … А те художники, что плыли на поверхности у жизни, замкнувшись в своих раковинах, не знали истинной жизни, до них доносились лишь глухие звуки волн её, и они не ведали о тех, кто был без раковины…

Нищенка

Иногда самые сильные поступки – те, что находятся на границе наших возможностей, которых мы не способны осознать в силу их расположения. Но творческая сила побуждает перенести их в середину, чтобы был возможен анализ. Таким образом мы кривим душой и искажаем события, делая шаг в сторону творчества. Есть поступки, которые выходят за пределы разумения, и они – самые значительные. Их можно, верно, собрать и как-то косвенно описать. Возможно, это и будет интересно.

...Недавно я видел нищенку, обедающую на ступенях лестницы, ведущей в подвал. Увидев меня, она отстранилась от меня нетерпеливым жестом руки и спустилась на нижние ступени лестницы, а я покинул свой наблюдательный пункт, поразившись её раздражительности. Ведь она уже смирилась с тем, что ела на улице, но не смирилась с тем, что кто-то будет на неё пялиться при этом. Значит, она упала ещё не совсем; она – ещё только в преддверии тёмных лабиринтов жизни. Это только начало её спуска. И она испугалась, скорей всего, расстояния, отделявшего её от прохожих, которое она заметила в моих глазах. И поняла, что расстояние это может только увеличиваться, но, увы, не уменьшаться. И так же, как она спускалась, спасаясь от моего взгляда, по ступеням лестницы вниз, она будет опускаться всё глубже в мрачные лабиринты жизни, которые отсюда, с того места, где она сейчас находилась, кажутся лишь неприметной точкой, такой безобидной, что представляется невероятным, что человек может очутиться там, будучи втянутым, как в чёрную дыру.

Потом я встречал её на одной из центральных улиц с котомками и вязанками, надетыми на палку, которую она несла, перекинув через плечо. На лице её было написано раздражение из-за боязни прочесть в лицах прохожих поспешный себе приговор. Ведь она отличалась от других нищих; у неё была своя судьба и неповторимая дорога, которою она шла. Она была личностью, а не тем жалким существом, которое определялось одним только углом наклона своего жизненного пути в омут, на дно общественной жизни, где уже никто не разбирался; где всё было одно, без отличий друг от друга слившихся пятен …

...Самое страшное в её положении, по её мнению, заключалось в том, что она могла пасть за ту черту, за которой происходило обезличивание и слияние всех, подобных ей, в одну массу, внушающую ей ужас. И поэтому она пристально смотрела в глаза прохожих, пытаясь понять, что они видели в ней? Понимали ль, что она такая же, как и они, со своей судьбой и неповторимой индивидуальностью; ну, и что, что она опустилась теперь до той границы, за которой начиналось обезличивание. Но она пока что твёрдо на ней стоит, и не собирается опускаться дальше. И это надо учитывать всем, кто её видит. А иначе это, скорей, их недостаток, и кто этого не видит, больше нуждается в жалости, чем она…

Предводитель кошачьего племени

...Самое сильное моё впечатление вчера – это Валера, кормящий уличных кошек кусками куриного мяса из большого пакета. Кормя их и заботясь о них, кошках, он как бы восполняет пробел в своей жизни, где никто о нём не заботится.

– У тебя что, нет никого, родственников или детей? – спросил я.

– Нет, – ответил он.

– Стало быть, ты один? – переспросил я.

– Да, – подтвердил он.

– И поэтому общаешься с кошками? – поинтересовался я. – И много их у тебя?

Он окинул взглядом улицу – мол, сколько попадётся.

– И не работаешь? – не отставал я.

– Нет, сейчас не работаю…

И это *сейчас* продолжалось уже более 10 лет и продлится ещё, вероятно, неизвестно сколько, как неизвестно, сколько продлится его жизнь.

– И не получаешь пенсии?

– Нет…

Ах, да; у него не пенсионный возраст! Так на что же он живёт?

– А на что же ты живёшь, на что снимаешь квартиру? Ведь ты её снимаешь?

– Да так, мне просто дают…

И значит, ниоткуда никакой материальной помощи; одни только подачки и подношения, да отбросы из мусорки…

...Послушай, хотел я сказать, да ты же совершенно свободен, о чём мечтали все философы прошлого. Вот так сидеть на улице и обозревать её и всех прохожих с той точки зрения, что единственными благодарными существами на земле остаются одни только кошки… Это ль не благодать… Да только неопрятность его вида да хмурая отчуждённость взгляда вносили в меня некоторую тревогу. А во всём остальном он был, конечно же, безгранично другой, будто бы вырванный из каких-то снов. Существо из тех измерений, где всё длится, не имея конца, и глядящий оттуда на наш убогий мир… Я отошёл от него, чувствуя свою неспособность перенести картину увиденного в мозг, чтобы вникнуть в неё, понять, что значили эти куриные кости, и его пальцы, берущие их… Для чего? Чтобы покормить кошек. Что означал его кроткий взгляд и его долгие скитания, этот обед на улице среди кошек. Меня уже раздражали пределы собственного мышления, для которого эта картина была слишком широкой, далеко неоднозначной… И я почти что презирал себя, возвращавшегося домой, в тишину комнат, ограждённых от всего уличного, случайного и неопрятного…

...Вчера в конце вечерней прогулки я уже в третий раз за эту осень встретил Валеру. Он неожиданно появился передо мной, таща куда-то большой пакет с мусором. И, обходя его, я бросил: *добрый вечер, Валера*, на что он отозвался добродушно, и в интонациях его голоса я уловил что-то знакомое. И подумал: кого же это мне напоминало – выражение его лица вместе с интонациями голоса? И догадался, что он напоминает мне Сашу, живущего ныне в Нюрнберге, а в прошлом соседа Валеры: Валера в то время был почтальоном. Может быть, тогда он и перенял Сашину улыбку и интонации голоса впридачу; или общность мест, где они ранее встречались, создавала схожую мимику на их лицах и совпадающие нотки в голосах. Но Саша жил теперь в Нюрнберге. У него там был 3-х этажный дом с погребом и хорошая работа в известной фирме. А Валера жил здесь. И у него не было дома; он жил в каморке, данной ему кем-то из жалости или воспоминаний о прошлом. А работа? Можно ли считать работой кормление кошек на центральной улице города или сбор мусора в мешок и волочение его по той же самой улице? Сам он говорил, что не работал нигде, кормя в это же время кошек и не отрываясь от этого занятия. Тем страннее и интереснее было найти улыбку Саши, который преуспевал в Нюрнберге, на лице Валеры, который волочил мешки с мусором здесь. Значит, приветливость и человеческое счастье не зависят от того, преуспел он в жизни или нет, имеет ли дом или не имеет, кормят ли его или он кормит кошек; улыбка была инвариантна относительно этого, появляясь то на лице Саши, живущего полноценной жизнью в Нюрнберге, то на лице Валеры, кормящего кошек, сидя здесь на тротуаре центральной улицы…

...Сегодня я опять увидел Валеру, кормящего кошек кусками куриного мяса из большого пакета. Я спросил, откуда столько добра?

– Да выбросили тут, – ответил он.

– У тебя постоянные клиенты или всякий раз новые? – спросил я, указав на кошек.

– Да много их тут, – окинув взглядом улицу, отвечал Валера.

Он словно не верил, что кто-то может с ним говорить, не было сцепления слов в нашем разговоре, они как будто бы скользили мимо и никоим образом не сцеплялись, чтобы получился разговор. Поэтому-то он и смотрел, потупясь; а скорей всего, не смотрел, занимаясь своим делом; мало ль кто от праздного любопытства подойдёт к нему, а потом точно так же, когда ему заблагорассудится, и отойдёт. Так что он будет заниматься своим делом, как будто никто и не подошёл, ведь разговора-то всё равно не будет, того, человеческого, от которого он почти что отвык, но так стосковался… Нет, лучше с кошками, с ними у него всё получается, и они его, кажется, уже понимают и как-то по-своему, по кошачьи, благодарят, или так ему кажется; да не всё ли равно… Ему с ними хорошо, во всяком случае, лучше, чем с людьми…

...Сегодня, возвращаясь с вечерней прогулки, я совершенно неожиданно вновь увидел Валеру, сидящего в необычной – хозяйской – позе на уличной скамье. Он набрал в рот дым сигареты, торчащей у него во рту, и, запрокинув голову на спинку скамейки, выпускал его вверх, в небо, где сияла луна, как люстра. И он сидел под этой люстрой, словно у себя в гостиной, на улице, где назревал праздник. Улица вся сияла огнями, но самый дорогой – вверху, лунный – был виден лишь ему, переговаривавшемуся с ним на языке клубов дыма. Да, он верил лишь ему, огню вдалеке, что был лунным, а не тем, что загорались по прихоти людей, хотя и горели они с виду ярче и как бы даже праздничней. И кто бы ещё мог чувствовать себя хозяином на этой улице, как не он, кормящий ежедневно котов и кошек отбросами из куриных конечностей, достававшихся ему даром. Это он водил здесь кошачьи хороводы. Именно он и эти коты были хозяевами этой улицы, а не те случайные прохожие, что поминутно мелькали на ней. Их было много, и недалёкий человек мог бы думать, что это они здесь истинные постояльцы, не заметив котов и Валеру, сидящего сейчас на лавке. Но если б человек этот задержался, то увидел бы, кто настоящие хозяева улицы, когда разойдутся все её случайные посетители. Тогда останется то, что является неотъемлемой принадлежностью улицы – Валера, мусор, луна и кошки…

...Я видел Валеру, кормящего опять кошку, но уже в обществе старенькой девицы, умиляющейся по поводу и кошки, и Валеры, кормящего её… Чего там было больше, не определишь, но и не надо, так как Валера слился с кошкой в кормлении её, и не требовал к себе внимания, но, напротив, как будто б приглашал и девицу, чтобы образовалась троица, он и она в кормлении кошки, которая отличалась от них только мехом своим, а так была, как и они, уличной – с домашними, однако, повадками, – как и они, оставшиеся с ней теперь на улице…

...И опять я возвращаюсь к Валере, пытаясь вместить его вместе с кошками и тем, чем он их кормил, в себя. И опять я вижу, что это невозможно, что эта картина гораздо шире мыслей моих, и уходит она куда-то в бесконечную глубину реальности. И бледность его лица, не имеющая границ, и множество кошек, терявшихся в переулках улиц, и вместительность пакета, содержащего неисчислимое количество куриного мяса, и то, сколько он страдал, как и где. Всё это растягивало сеть моих мыс-

лей и улетало прочь, как из пращи камень… Сеть моих мыслей дрожала, и по этой дрожи, её частоте, я измерял его страдания. Не смешно ли? Страдания Валеры не имели конца, а дрожь моих мыслей измерялась одной только частотой! И я видел подделку, привычный обман, которым сознательно подменяли правду. Я пришёл с дрожанием мыслей домой, чтобы воссоздать картину его страданий. Но картина страданий в моем описании выглядела изрезанной. Её искромсала острая сеть моих мыслей. Они проходили через эту сеть, как через мясорубку, выходя из нее в виде фарша! То был фарш из Валеры, его плутаний по улицам в сопровождении кошек. Фарш из Валеры и хоровода кошек с потоками куриного мяса! Тогда я решил написать рассказ «Хоровод из кошек в сопровождении Валеры» и записал его во сне. Сон вытянул все страдания Валеры из непознаваемого сумрака, и рассказ получился хорош, так как необъятность сна не мешала его страданиям продолжаться в бесконечности. Гордящийся, что написал такой рассказ, я спрятал его в один из ящиков письменного стола, зарыв его под стопками лежащих там бумаг. Но я перестарался, не учёл способности сна уходить в неизвестность и уносить с собой на редкость удачные рассказы. Впоследствии я не нашёл его, несмотря на все мои усилия, ни в одном из ящиков письменного стола, которые были у меня здесь, наяву, и там, во сне…

Эпилог

В этом распадающемся на части мире, когда эти части совершенно не связаны, и каждая из них существует раздельно от других, Валера собирал что-то во дворе в полиэтиленовые пакеты, и собирал он, кажется, запасы продовольствия из мусорных баков. Да, он копался в мусоре, а потом доставал из него что-то съедобное, например, фрукты… И мыл их под краном, стоящем во дворе, а потом ел. И ещё пил он из пластмассового фужера с трубочкой какой-то напиток, может быть, вспоминая время, когда он не был ещё нищим … Он пил он через трубочку свой напиток и оглядывал замусоренный двор, следя за другим нищим, который тоже был охоч до отбросов, не стащит ли тот чего-нибудь, что он, Валера, для себя уже облюбовал… Но тот нищий ушёл, не оправдав опасений Валеры. А Валера ещё долго хозяйничал в замусоренном дворе, моя под краном добытые из мусора фрукты, и поедая их прямо на входе во двор, сплошь усеянный мусором… А потом вышел с собранными припасами в полиэтиленовом мешке и побрёл к мусорному баку напротив… И он еще долго что-то собирал и укладывал в пакеты, что-то из того, что было брошено кем-то в мусорные баки. То есть, он наводил порядок, чтобы самому не превратиться в мусор, не смешаться с ним, а противостоять ему своим кропотливым трудом. Я смотрел ему вслед; ноги у него были коротки и немного колесом, он хромал. И на вид одичал, хотя и находился все время на центральной улице города, среди людей, проходящих мимо...

...А вчера я был на представлении колумбийской школы танцев. И мне нравилась гибкость молодых представителей материка, откуда они прибыли. И музыка, сопровождавшая танцы, была хороша. И я думал, что танец их хорош уже тем, что собрал отдельные, без сомнения интересные элементы в одну композицию так, что элементы эти влились в неё…

...Но ведь и Валера не просто собирал мусор; он собирал его для продления своей жизни, которая служила высшему началу. Всё, что не было нужно тем, кто вы-

брасывал мусор, было необходимо ему, служило для поддержания его жизни. И поэтому он тщательно отбирал нужное ему из общей кучи хлама, мыл, чистил и складывал всё это в большие пакеты. Он не даст себе пасть настолько, чтобы умереть с голоду, когда столько всего в мусорных кучах, стоит только присмотреться. И он тщательно присматривался, отбирал и складывал. Он, можно сказать, что работал. Да, это была работа, которая давала пищу и сносное настроение… И путёвку в завтра, когда можно будет опять копаться в мусорных кучах и поддерживать в себе огонёк жизни, который не он зажёг… И пока огонёк ещё горит как-то, он постарается не дать его задуть всем невзгодам жизни…

...Каждое движение Валеры не было значительно, он или, ковыляя, делал пару шагов или выдувал напиток из пластмассового фужера, найденного, скорей всего, среди мусора. Но, собранные вместе, его поступки служили поддержанию жизни, начала и конца которой никто не знал. Это была тайна, и поэтому всё, что он делал, несомненно, тоже было тайной, как и танец того колумбийского ансамбля. Но танец Валеры был не менее впечатляющ, хотя исполнял он его один…

...Откуда мы знаем, в чём смысл наших поступков? А между тем мы разделяем и оцениваем их, когда они, возможно, служат высшему началу, которое нам недоступно…

...Кроме полноценной человеческой жизни, когда действия соответствуют сложившейся обстановке, существует ещё – я так её назвал – жизнь в вакууме, когда действия не являются непосредственной реакцией на сложившуюся обстановку. Вакуум – то, что отделяет нас от действительности. И поэтому действия человека, находящегося в вакууме, не могут непосредственно влиять на действительность. Хотя тут возможны и варианты. Или действия человека не оказывают заметного влияния на действительность, независимо от времени их начала – здесь речь идёт об аутентичных существах. Или же по истечении определённого, иногда довольно большого промежутка времени, они оказывают заметное влияние на окружающих, и здесь уже речь идёт о творчески одарённых людях или гениях. Например, Валера, кормящий кошек – нищий, возвышающийся над оживлённой центральной улицей, или зеленщик, как бы приросший к камню у входа в магазин, эти люди – обитатели вакуума. Их жизнь интересна, потому что, с одной стороны, нет, как будто бы, их непосредственной связи с реальной жизнью, так как они не могут на неё воздействовать. А с другой стороны, именно они находятся в центре жизни, так как она их непосредственно теребит, мнёт и топчет, но они лишены возможности ответить ей и точно так же теребить её, мять и топтать. Они более всего участвуют в жизни, потому что дали ей вторгнуться в себя, удобно расположиться в них и превратить их в полигон для ежедневных своих действий. Те же, кто отделился от жизни на безопасное расстояние, могут, пользуясь положением своим в обществе, например, должностью, постоянно теребить и мять окружающую их жизнь, не имея о ней ни малейшего понятия, так как с того расстояния, на котором они от неё находятся, жизнь не разглядишь! Стало быть, те, у кого жизнь полноценная, больше всего могут влиять на неё, не зная её, находясь от неё на почтительном расстоянии. А те, кто находятся в непосредственной от жизни близости, столь опасной, что она раздирает их на части, совершенно лишены возможности на неё влиять …

Мой знакомый учитель физкультуры

...Чтобы получить стимул писать, я должен научиться протыкать ночь своим взглядом, воображением или чем-то ещё, чтобы видеть сквозь ночь содержание дня, дойти до дна ночи, где она превращается в беспросветность, а там уже, в глубине её, увидеть свет и жизнь, но свет и жизнь ночи, а не дня; возможно, что изнанки дня, где всё совершенно по-другому – не как в дне с его цепкими связями, а как в ночи, когда эти связи слабеют и возможны их извороты, растяжения и перемены…

...Я должен лучше разобраться в смысле ночи и моих ночных выходах в город, потому что ночь плотней дня, и она сжимает рассеянных в свете дня людей, и они предстают тогда более цельными и значимыми.

Таким цельным предстал передо мной Чингиз, педагог физкультуры, который днём казался мне другим. Он потерял летом мать, и об этом он мне сказал ночью. А днём он говорил, что она жива, правда, это было задолго до её смерти. Но тут, когда я встретил его ночью на улице, он указал и причину её смерти, доверчивость её к советам подруг, следуя которым, она попала в больницу, а оттуда уже пришла больной и больше уже не выздоровела. И в этих словах его был глубокий смысл, почти как и у ночи, дна которой я не видел. Я не спросил, почему он не посетил в больнице мать, настолько потряс меня, его рассказ… Слова его были вескими, как и он сам; он выглядел солидно, не то, что днём, когда казался мне старше…

И так же точно был смысл и в игре на пианино моего однокурсника Рафика, которого я видел сегодня во сне.

– Где ты научился играть? – спросил я Рафика.

– В школе, – отвечал он.

И я указал на него сестре, говоря, что он научился играть в школе, стараясь подчеркнуть его талант; ведь учатся в школе не музыке, а он ей научился там, где этому не учат, что говорило о его восприимчивости. И в связи с этим я вспоминал в том же сне, что в институте, где мы учились математике и физике, он умудрился написать сценарий по повести Камю, то есть опять явил необыкновенные способности схватывать то, чему его не учили и даже не намекали…

...Вчера я собирался ещё раз написать, как хотел проткнуть ночь своим взглядом, как проткнул её прогулкой, когда на острие моего взгляда оказалось море с освещёнными по-ночному судами, вознесённое почти что до небес шпагами моих глаз. Вчера я хотел написать об этом, а сегодня качаюсь на сверкающих волнах дня. Я хотел написать ещё о силе, с которой противостоял невозмутимый на вид учитель физкультуры таинству ночи. Как он бесстрашно шёл домой под чёрным плащом ночи и лишь ворчливо оглядывался на беснующуюся в улице молодёжь.

– Такие и делают революцию, – признавался он, надеясь на сочувствие моё.

– Не знаю, – уклонился от ответа я, подумав, не лучше ль энергия безумства, чем его рассудительная бездеятельность, и не нашёл ответа на этот вопрос.

А он понял, что я – не его единомышленник, и прощался со мной церемонно…

...Чёрные прутья ночи хлестали его по лицу, когда я увидел его, спешащего домой. И он остановился, оцепенев, когда удар моего приветствия застиг его врасплох. И сознался, что дал уйти из жизни прошедшим летом матери.

– Ведь и лето было жарким, – вступился за него я.

– Нет, она слушалась только советов подруг, а они, увы, не были полезны.

– Как так? – полюбопытствовал я.

– Она без конца говорила с ними по телефону, то с одной, то с другой…

– Ну и что?

– А то, что они советовали ей лечь в больницу нефтяников.

– Вот как…

– И она пришла оттуда через месяц, совсем больная … Её рвало, рвало,… тошнило её, а потом кончилась…

– Но лето было жарким. И я потерял этим летом мать…

– Но ещё более жаркими были звонки её подруг. Телефон не умолкал и из него летели советы… её подруг, которые и сбили её с толку… Чтобы избавиться от этих советов, которыми они забили ей уши, она и легла в больницу… А оттуда вернулась уже совершенно больная…Это подруги...

– Но и я потерял мать, потому что лето было жарким…

– Её тошнило от их советов, они вогнали её в гроб… Если б она слушала меня, то не было бы ничего. Но она слушала их...

– Но и я лишился матери этим жарким летом, – снова напомнил я.

– Соболезную, – откликнулся он. – Но не в лете дело, а в нас…

...Вчера ночь обрушилась на меня, когда я оказался на улице, кулаками гневного ветра. Он дубасил меня по лицу и телу. Я бежал, прятался от него, и люди, которые попадались мне навстречу, гнулись под тяжестью его. И не было среди них моего знакомого, учителя физкультуры в возрасте, ушедшего давно от физкультуры, так мне казалось, по крайней мере, на вид. Он был плотен и среден ростом, но подчёркнуто медлителен и отчасти сед…. Что он имел отношение к физкультуре, говорила только некоторая грузность его тела, скрывавшаяся под плотной тканью пальто, но не лицо его, которое ничего не говорило о физкультуре, а разве что о французском языке, на котором он не говорил, и о том, что последним жарким летом умерла его мать… Потом он скрылся в подъезде центральной улицы.

– Вы здесь живёте? – спросил я его.

– Да, – ответил он, – и вы могли бы зайти…

Я поблагодарил его, и мы расстались. Исчез он вместе с присущей ему физкультурой и прилипшим к его языку рассказом о матери…

Эпилог

...Сегодня я видел Чингиза, уже старого учителя физкультуры, в машине, когда возвращался с работы, а он дремал на переднем сиденье, склонив голову набок. И его гладкая лысина вместе с сединой головы была образцом умиротворения, когда человек с чистой совестью может спокойно преклонить свою голову…

...А потом я встречал его уже на улице около дома, и старческое его лицо своим благодушием словно сдерживало суету вечерней улицы. Он как бы был в самом начале своей старости и поэтому, по сравнению с её концом, который его ждал, был молод. И ещё он как-то гладко вошёл в свою старость, без сопровождавшего этот процесс хотя бы малого конфликта, будто бы старость ждала его как венец всей его предыдущей жизни, когда, убелённый оставшимися на голове сединами, он мог, на-

конец, спокойно вздохнуть. Мол, слава богу, опасный отрезок жизни уже пройден, когда он мог ещё невзначай ударить лицом в грязь, не успеть выручить друга, предать подругу, изменить слову и т.п. А теперь, слава богу, он чист, никого, кажется, не подвёл, крупно не обманул; спотыкался, конечно, но не падал лицом в грязь … Да, самое главное, что опасный отрезок жизни уже пройден. И теперь он может отдохнуть, склонив голову или на сидение машины, или на спинку дивана, или хоть на подушку… И его всегда при этом будет обрамлять чистая седина, как ореол его священной неприкосновенности…

Поэт

...Я поэта часто встречаю в последнее время на прогулке. Как вкрадчиво он в одиночестве шествует по улицам, будто боится вспугнуть спящего, выплывая неслышно из темноты, так что я спотыкался во время ходьбы, когда он оказывался передо мной, словно выплывший из темноты призрак. И вчера он так ходил по бульвару, будто ворожил или подражал какой-то декоративной птице, думающей, что её никто не видит, тогда как я знал его или мне казалось, что знал. По крайней мере, он, возможно, и сочинял стихи, когда так ходил, как большая, без крыльев птица, вроде какаду, по темнеющему бульвару, перед которым разливалось море. И любил он одиночество своё, которое было ему ценно, как и поле листа, на котором он пишет стихи. Но о чём были его стихи, когда он так ходил, согнувшись, словно ему невмочь было разогнуться, или он не желал этого вовсе, ведь так удобнее было собраться, чтобы не терять рифмы. Напиши стихи о себе, думал я, об этой удивительной своей позе и манере ходить, как богомол, и манере глядеть, словно ты ничего не видишь и погружён весь в себя. Об этом пиши, о себе, чтобы знали, кого ты отнял у нас, замкнувшись в одиночестве. Удивительный поэт, восхитительный, манерой ходьбы завораживающий публику. И не надо стихов и рифм никаких, коль есть этот шаг и взгляд, сверлящий пустоту, будто буром, и мягкость ступней, как не у всяких животных. Он поразил меня, этот поэт, образом жизни и ночными прогулками подстать театральным представлениям, по берегу моря, когда вокруг него бушевали волны, моросил дождь, и небо было немилостиво, а он крался меж ними по кромке берега, будто сейчас выкинет что-то; но блистал его взгляд, немело лицо, не исторгая ничего, похожего на слова… И он весь был как ожидание чего-то – чуда? Может быть, и не чуда… Кто знает, когда чудом уже был он, который только и делал, что ходил и говорил…

Велосипедист

...Сейчас – опять, конечно же, на прогулке – я видел на велосипеде почти что старца, наполовину убелённого сединой, из-за чего волосяной покров его головы и бороды был неопределённого серого цвета, как будто б даже был грязен. И, что удивительно, он ровно и аккуратно вёл свой велосипед, как товарища на колёсах. И были они одним целым; он и его велосипед, который катился ровными колёсами по дороге, где были и встречные машины, и пешеходы, между которыми он очень осторожно лавировал, тем самым оберегая от возможности встречных ударов своего двухколёсного друга, который, в свой черед, мог бы полностью ему довериться, старцу со смешанной сединой на волосяном покрове головы… Наверное, у этого

старца не было никого ближе, чем тонкооободный этот велосипед, лёгкость которого была опорой его старости. И пока он был под ним, двухколёсный металлический друг, велосипедист не состарится…

...Был ещё другой старец на этой же улице, любитель мотоциклов, который жил в подвальной конуре с железным своим другом, лихим мотоциклом, с которым он вместе спал и вставал вместе и был как бы всегда на колёсах…

На могучих колёсах этого мотоцикла слабеющий седобородый старец с почти полностью убелённой сединами головой, не выпускающий из своих рук руля мотоцикла, этого ретивого коня, обретал силу жить. И железный конь был рад служить ему, отдавая избыток своих сил. Так они и жили в подвальной конуре неразлучно – поджарый старик с клоками волос, свисающих с головы и бороды его, и железный конь, готовый унести его по первому же зову хоть на край света… Так и жили, пока конура та не опустела… Я это заметил, видимо, по прошествии достаточного времени после того, как оба они исчезли. Конура их омертвела, и я увидел прикрытые дверью её тёмные глазницы … А до этого, когда я проходил мимо, в них горел свет, звучала по радио музыка и блестел под электрической лампой мотоцикл, верный друг старика, который занимался мелкими домашними делами, так как по-настоящему, по большому счёту, он любил только свой мотоцикл и ту скорость, которую на нём выжимал…

...Сегодня я вновь увидел идущего по улице старика-велосипедиста. На сей раз он был без велосипеда, но столь молодо шёл по подъёму, что не хотелось называть его стариком. И кожа блестела на его гладком черепе, по краям которого ложились ровными пластами волосы. Они были как щетина помазка, лежащая широким и густым слоем вокруг затылка. И был он хмур ещё немного, не радуясь глупо жизни, но зная все её нехитрые проделки. И всматривался он вдаль, под прищуренными как щётки бровями, потому что его интересовала только даль пути, что виднелась, но не суетный фасад, который мельтешил перед глазами. А перед глазами его мельтешили женщины, и всё больше молодые а также те, что были гораздо моложе его. Но он видел только даль, не замечая аромата, что скользил мимо него. Он проскальзывал мимо, этот аромат женщин, мимо которых шёл старик с гладкой черепной коробкой, по краям которой, и особенно с затылка, ложились пластом, как чистая щетина помазка, его волосы. А он лишь прищуренно глядел вдаль…

...Сегодня я видел гордого старика с бородкой за последним в ряду столиком в библиотеке Академии. Он был одинок, дружил с велосипедом и книгами, и с мыслями, заложенными в них. И взгляд его был твёрд, хотя и не столь ясен, как у молодых. Но твёрд и непреклонен. И читал он книги и катался на велосипеде, не как в молодости, а совсем по-иному, как в старости, как никогда раньше…

Бедный мой коллега

...К одному и тому же делу можно относиться по-разному. И если оно не увлекает, но нас в него вводят, и довольно глубоко, это может сказаться на самочувствии и вообще на здоровье. Так, Шамседдин был обижен студентом своим, включившим во время лекции музыку на мобильном телефоне. Подойдя к нему, Шамседдин ска-

зал, *ты настолько меня не уважаешь, что слушаешь музыку во время лекции?* Студент ответил, *иди-ка, дяденька, к своей лекции и не мешай слушать музыку*. Тогда Шамседдин залепил ему рот своим кулаком, сопроводив это словами: *кто ты такой, что обижаешь меня, старика? А, ну-ка, выдь из класса*. И, рассказывая это, Шамседдин был стар. Он уходил всё глубже в свою старость, не видя приветливых улыбок студентов. И это было ему обидно. Почему его не провожали уважительными взглядами туда, откуда не было возврата, в белую яму старости, где все цвета, вылиняв, превращались в один – белый! Нет, не было сочувственных взглядов в том узком проходе, по которому он шёл, разве что, дочь и внуки... Да, а жену он потерял, уже более года назад… Бедняжка ушла, провожаемая его заботами и страхами о её исходе… Но всё свершилось естественно, правда, по прошествии нескольких лет мучительных волнений и надежд, когда все надежды вдруг оборвались, а волнения заглохли, и открылась воронка, из которой вырывались его чувства вслед за той, что ушла в пустоту… Он же уходил в белое безмолвие старости, не сопровождаемый сочувственными взглядами студентов в аудиториях, где он им читал лекции. Нет, они подтрунивали над ним, вгоняя его всё глубже в пустоту старости. Но он отстаивал свои права, как мог, или ему казалось, что он их отстаивал, когда старческим криком выступал против хамства молодых людей, напоминая в этом противостоянии своего единомышленника из гоголевской повести. Ибо был он столь же беззащитен, и в узком кругу близких друзей и семьи человечен, как и гоголевский герой, обижаемый своим окружением …

Визит

...Приходил Казим в головном уборе горчичного цвета и, как всегда, в потёртой одежде. Его тронула смерть моей мамы, ведь он был так внимателен к ней, когда приходил, хотя приходил он и тогда редко. Много забот, трудностей в его жизни. Ночами он сторожил мельницу, днём работал, к тому же и жена – инвалид после инсульта, чудом вставшая теперь на ноги. Да, по дому она много делает, гладит, убирает, – говорил он. Ещё и тёща приболела. Была при смерти, но он с божьей помощью поднял её на ноги; сначала искусственным, через трубки в носу, питанием, потом клизмой, которую он, на свой страх и риск, ввёл в её слабое тело. Но теперь у него другое увлечение против этих невзгод.

– Ты пишешь рассказы? – спросил он.

– А что?

– Я их пишу, но в уме и устно, а переложить на бумагу не удаётся. Не знаешь, как это делается?

– Никто этого не знает, – ответил я.

– Я так и думал; может быть, записать на диктофон?

– Что ж, это выход…

Потом он ушёл, собираясь закурить сигарету, но, встретив мой отрицательный жест, сказал, *ладно, выйдем, и я закурю во дворе*. Мы прощались у дворовых ворот.

– Твой? – указал я на старенький *жигулёнок*.

– Да, – ответил он.

Они были схожи: автомобиль тоже словно вышел из нелёгких житейских боёв, как и хозяин его …

Но то, что он писал рассказы, заинтересовало меня, как рассказчика, писавшего

некогда о нём. И что значили его рассказы по отношению к моему; ведь он был некогда одним из персонажей моего рассказа. Стало быть, персонаж мой ожил до такой степени, что был способен делать то, что и я делал, считая, что он послушен моей воле. А теперь он делал то, чего я от него не ждал, он выпал из моего рассказа и завладел пространством, в котором мог оказаться и я. Вот это меня и завораживало, что я оказался в ловушке, созданной мной же…

...Рядом с рассказом обо мне, который ведёт меня по жизни, есть рассказы и о других людях, идущие параллельно с моим. И я могу читать их мельком … Но только мельком, не вникая глубоко в смысл… В других же рассказах, не параллельных с моим, не разобрать ни строчки, и я отмахиваюсь от них, мол, не стоит и читать… Но когда меняется моё направление в жизни, и я беру новую книгу рассказов, меня поражает, почему же я не знал их раньше…

Последний рассказ, читанный мной, это рассказ о Казиме и привязанности его к женщине, которую я не пустил в дом квартиранткой. И он сказал, так даже лучше, перевернув страницу, которую я мог ещё читать… Казим был героем писанного им, то есть, своего рассказа. Даже если б он не хотел, его написала бы жизнь и сложила на полки его памяти.

Я же был героем своего рассказа. Правда, он менялся, как и менялась моя роль, но я оставался всё же на авансцене. И каждый из нас в рассказе другого был персонажем, в роли, так сказать, второго плана. И может быть, поэтому мы и не понимали друг друга, хотя и тянулись один к другому, чтобы узнать, кто же мы в написанном другим рассказе и показать, с несущественными исправлениями, кто же он в написанном нами рассказе...

Так и старший сын ЛГ, у которой мы были осенью прошлого года и который мне сразу же понравился внешним своим видом, – он сидел на кухне и приветствовал нас, а до этого Софа рассказывала, что он работал дворником, пил и ежедневно по одному манату давал матери – умер. А я хотел построить на нём рассказ об ЛГ, которой он давал в день по одному манату, несмотря, что сам пил и был не у дел… Но не успел я сделать этого рассказа, как он выпал из поля моего зрения, выпав и из этой жизни… Зачем же ему быть героем моего рассказа? Он избрал иной путь, не подчиняющийся ни моему рассказу, ни здешней жизни… Да, он умер, Игорь, а был так хорош, как основа для моего рассказа, когда мы заходили к ним, а он сидел на кухне, не поднимаясь и чем-то напоминая домашнее животное, кошку или собаку, и приветствуя нас низким, приятным голосом, говорившим, что он всё же человек, хотя и на правах животного… Он очень нравился мне, человек, голосом и видом своим родственник, близкий сын, живущий в доме на правах как бы животного…

Игорь, как предпосылка к моему будущему рассказу, был интересен тем, что объективно был плох. Неудачник, дворник и пьяница, в отличие от другого её сына, в общем-то, состоявшегося… От него у неё была внучка замужем за красивым, как она говорила, зятем. Но Игорь был ближе к ЛГ, так как жил с ней рядом; не поднимал на неё руку, а, отдавал вместо этого по одному манату в день, отрывая его от себя, лишая себя выпивки, без которой он, увы, уже не мог жить…

Итак, изменчивость человеческой природы, когда он один с одного ракурса, и другой с другого, привлекала меня как рассказчика в нём… И ещё, изменчивость человека умышленная или, возможно, что не намеренная, когда Азер, мой родственник, – к примеру, хвалил меня другу со школьной скамьи, говоря, что у меня благородная внешность, и даже по внешности можно судить о благородстве моей души, а мне –

что он рад всегда меня видеть. А я терзался угрызениями совести, что думал о нём и писал некогда плохо: о той стороне его души, которая теперь оставалась в тени, так как оказывалась на виду та, что была в тени прежде, когда я писал… И я думал, что он оказался шире, чем я писал, потому что мог показать противную прежней и лучшую сторону своей души … Или он так играл, чтобы мучить меня? Но это была более утончённая месть, чем если б он прямо обвинил меня в сквернословии…

В любом случае, я думал, что письмо моё прежнее не отражало его реальной сущности; что была она, конечно же, сложней и невообразимей, чем всё то, что я полагал и самонадеянно описал когда-то…

P.S. И всё же, как я не пытаюсь вникнуть в других людей и внушить себе, что я их люблю, но по сравнению с их отношением к себе, это лишь поверхностное действие. Другие, в лучшем случае, являются лишь поводом для моих раздумий или рассказа. И с уходом их из моей или их жизни, прекращается рассказ, какой они представляли о себе, но остаётся тот, кто сочинил этот рассказ вместе со способностью его выражать чувства к другим людям в виде рассказа. Мы же сами по отношению к себе являемся рассказчиками, и рассказ, который мы о себе создаём, никогда не заканчивается, так как он неразрывно связан с рассказчиком. Связь с другими рассказами гораздо слабей, почему они рано или поздно и отрываются от рассказчика. Из-за этого люди и не могут понять друг друга, так как они не хотят смириться, что являются лишь поводом для рассказа в другом человеке, рассказчика некоторых моментов их жизни, в то время, как они считали себя рассказчиками его и своей жизни...

Все наши благие намерения – это всего лишь попытки написать рассказ. Все же неблаговидные желания, поступки и презрение к себе – попытки выпасть из этого рассказа. Порой мы не хотим быть рассказами во мнении других и даже в своём собственном мнении. Нас озаряет, что мы – не то, чем являлись в своём мнении, не говоря уже о мнении других. И мы хотим узнать свои возможности, выходящие за пределы этих мнений. Ведь эти мнения или рассказы, составленные о нас – путы, сковывающие свободу нашего движения и когда мы понимаем это, хотим освободиться от них. Но как? Как выйти за их пределы? И есть ли за ними пространство, в котором мы могли бы действовать? Или это обман, толкающий нас на преступления, ведущий в бесконечную пропасть? Ведь это дикое желание выпасть из сложившегося рассказа может привести к другому, ещё менее понятному рассказу. А может быть есть путь, выводящий за пределы всех рассказов? Исчерпывающий рассказ о бомжах ещё не написан. И, вообще, не написан исчерпывающий рассказ ни о ком и ни о чём, так как в каждом рассказе есть мечта, являющаяся выходом на свободу…

Как выйти за пределы рассказа о самом себе и о других? За пределы книг, зеркал и пустых разговоров? Выйти в зазеркалье? Или за пределы своей жизни? Но за пределами одной жизни находятся другие. И что, надо вторгнуться в их жизни, чтобы выйти из своей? Своя жизнь представляется порой могилой, в которой заживо погребён. Надо быть гением, вроде Моцарта, Шекспира или Эйнштейна, чтобы, оставаясь в ней, не зачахнуть. Простые же смертные, за исключением немногих, естественно врастающих в ткань жизни, – это памятники самим себе …

Меня осенило, я удерживал единство своей личности при помощи зеркального изображения! И это надо сделать темой моего сочинения. Сначала – распадение личности на отдельные составляющие, а потом удержание его единства или даже соединение отдельных составляющих при помощи зеркального изображения. И, поскольку,

зеркальных изображений множество, поиск того из них, в котором чувствовалась бы сила единства, способность связать в одно целое все разрозненные образы…

Остальные ж люди, что они? И знают ли они сами, что они? Они – некоторые из них – просто люди, не объясняющие и принимающие себя, как известность, интерьер окружающей их обстановки, они просто дополнение её… Но есть и те, кто пытался себя понять и ворошил себя вместе с окружающей обстановкой и, в конце концов, приходил к двойственности – он и обстановка. Это дало тем, кто не терзал себя, увериться в своей позиции и чувствовать весомость свою по отношению к окружающей обстановке.

Конечно же, окружающая обстановка сложней, чем мы или кто либо о ней мог думать. И жизнь – это, собственно, и есть столкновение между нашими догадками и ею, в результате чего мы и делаем соответствующие выводы. И вот какие выводы мы сделаем, определит жизнь и дальнейшее наше развитие; возможность этого развития и приближение к окружающему, если выводы наши правильны, и невозможность развития, в противном случае, когда мы уносимся потоками жизни, оставаясь в недоразвитом состоянии.

Поскольку другие люди могут видеть в нас и то, чего мы не видим, можно пользоваться этим для составления более полного своего портрета, если мы лучше к ним приглядимся. Эта составляющая присутствует и в любви между людьми, то есть, любящие люди создают портреты друг друга при помощи своих чувств и воображения. И каждому из них интересен, помимо образа, который он создал, и образ его в творчестве любимого существа.

Какими зеркалами мы пользуемся в жизни? Во-первых, теми, в которых видим по законам физики своё отражение. Но кроме этих зеркал, которых тоже немало, и к тому же они могут быть изогнуты, искривлены и т.д., существуют ещё зеркала, в которых мы видим своё отражение, по законам психологии или даже следуя интуиции. И вот эти зеркала – люди, с которыми мы встречались в жизни, и нередко мы угадываем по их взгляду на нас, отношение их, то есть, себя в их представлении. Следует тут сказать, что это представление никогда не бывает завершённым, а формируется в течение всей их жизни последовательными приближениями. И мы можем влиять на этот процесс, почему и развитие отношений между людьми тоже, как это видно, имеет творческий характер. От нашего поведения зависит каждый из промежуточных этапов этого процесса, а от последнего наше поведение и т.д. Хотелось бы отметить и составной характер ситуации, явления и, в частности, человека, с которым мы встречаемся, и неспособность нашу постичь все его элементы, и возникающее в связи с этим искушение объединить эти элементы под общим названием. Когда мы говорим, что человек плох, мы часто не видим то хорошее, что заключено в определении человека. И в этом кроются корни обид, несимпатий и даже вражды, как ни странно, – в обозначениях, так как мы оперируем составленными из слов определениями. Ситуация, в которой есть много составляющих, мы определяем одним словом, благоприятная или нет, то есть, усредняем впечатление, произведённое на нас, что зависит уже от нашего настроения, самочувствия, наконец, здоровья в этот момент.

Мы отличаемся друг от друга внешне тем, как распределены главные элементы тела, глазами, ушами и т.д., а внутренне тем, как мы движемся между основными явлениями в жизни, смертью, болезнями и т.д. И поэтому, все люди одинаковы, если иметь в виду только эти элементы, как первые, так и вторые, но разные, если отвлечься от этих элементов и рассмотреть, что находится между ними…

Академик

...Мне люб и сосед мой, академик, говорящий, что физики ничего не смыслят в сооружённом ими коллайдере, и намекавший, что он значительней их, занимавшихся пустым делом. Мол, он знает, чем надо заниматься, и его не собьёшь с пути грандиозными коллайдерами. И когда он это говорил, я в душе его жалел; мол, как он заблуждался, думал я не без ехидства, хотя и с долей сочувствия. А теперь я думаю иначе, он ведь прав был, академик, что никто так не разбирался в коллайдере его души, как он, в спонтанных соударениях его снов и путанице семейной жизни. Кто мог так же с успехом разбираться в этом, как не он, доживший до семидесяти лет и нацепивший на себя титул академика. Брайан Грин или его коллеги? Пустое это… Кто, как не он, выстроил себе трёхэтажный дом с гаражом и прочими удобствами. Виттен? Шварц? Они занимались струнами, ну, и пускай развлекаются. Это не то, что построить дом и содержать семью, да иногда, нет-нет, и копаться в своих снах … Что бы они значили? Эх, кабы вернуться к началу своей жизни с опытом прожитых лет. Тогда б он дал им жару – и Грину, и Виттену, и всем, кто следует сейчас за ними. Но ни в физике, ни в биологии этого не бывает, хотя в физике возможно, но не даст биология. Так что придётся продолжать свою жизнь и дальше и быть академиком в оставшийся её период, чтобы не ударить лицом в грязь перед тем, что ожидает его и семью, перед снами, невзгодами, болезнью и всем, чем богата наша жизнь …

«Чарли Чаплин»

Его звали Гюльбала, что в переводе, верно, значило бы цветочный мальчик или, может быть, мальчик по прозвищу «Цветок», если не просто-напросто мальчик и «Цветок» или «Цветок» и мальчик и т. д.

– В нем есть что-то необыкновенно смешное, что кого-то мне ужасно напоминает, – произнес я как-то в задумчивости.

– Уж не Чарли ли Чаплина? – спросил меня робко Шекер.

– Да, конечно же, его! – воскликнул я.

– Настоящий Чарли Чаплин, не правда ли? – несколько бодрей уже переспросил меня Шекер.

– Ты верно угадал; а я всё ломал себе голову, на кого же он так бесподобно смахивает?

– Тут ясно всё и без слов. Вылитый Чарли Чаплин! И походка у него такая же, и работа, как у того, валится из рук вон...

– Помнишь, как он налаживал нам антенну?

– Он танцевал с ней на крыше, как последний бродяга...

– А мы в душе тоже, видать, бродяги, если поверили, что он с ней сладит...

– Он-то с ней, может быть, и ладил, да только не наш телевизор, который зеленел в это время как будто бы даже от ревности...

– А он продолжал танцевать с ней на соседской крыше, как ни в чем не бывало, и называл ее нежно по имени «Анте-е-енна».

– Ветер свистел как безумный, и она исцарапала ему руки.

– «Она всего меня исцарапала!» – вопил он с соседской крыши; а экран телевизора исходил зелеными пятнами, как озёра в Японии широкими листьями лотоса.

– Это был впечатляющий танец... Особенно для нашего телевизора.

– Руки его тоже изрядно пострадали... Во всяком случае, он просил, чтобы мы заплатили ему за все увечья. Или же дали бутылку пива, чтобы он забыл о них и о том, что отплясывал целый день под солнцем в обнимку с ветром на крыше, увы, уже покойного нашего соседа.

В тот день, о котором шла речь, Гюльбала, реанимирующий списанные со счетов приборы, проведший дополнительный кабель для своего соседа, живущего от него наискосок по улице; сумевший сделать почти то же для другого соседа, жившего уже справа от него; выполнивший различной сложности работы для преуспевающего в бытность соседа по тупику и мелкие ремонтные работы для сына судьи, был приглашен к нам для починки разбитой антенны.

Вчера он танцевал с ней («анте-е-енна», как он ее называл, смягчая почему-то уж чересчур «т» и напевно произнося «е») на крыше дома покойного соседа, Асафа. Он вальсировал в обнимку с куском непослушной железки под азартными ударами ветра. Зачем же он оказался на крыше под сносящими его оттуда порывами ветра и почему он обнимался с железкой, которую он почему-то уж слишком нежно называл по имени «анте-е-енной»? Возможно, что она и вправе была так называться (ну, может быть, слегка иначе; например, просто «антенна»), когда можно было бы насчитать большие и малые её трубочки, напоминавшие чем-то сильно уменьшенные в размере акустические трубки органа. Но они осыпались вместе с листьями того дерева, к которому она была прикреплена. И теперь от тех трубочек оставались одни только кусочки! Но он все равно называл ее нежно по имени «анте-е-енной», вальсируя с ней на крыше, потому что она не хотела передавать ни под каким углом, ни под каким мыслимым наклоном своего корпуса сигналов на экран телевизора. Не хотела и не могла! А он вальсировал с ней в надежде поймать ту самую позу, при которой сигналы отсылались бы от неё к нам, будучи схваченными с телебашни. Но не на ту напали! Она не хотела делать того, чего от нее мы, кто, расположившись у экрана телевизора, кто у порога дверей и, наконец, во дворе, ожидали. По всем этим стратегически важным постам передавались одни только неблагоприятные известия. «Не показывает» или «показывает из ряда вон плохо»; «шумит» или «поблекли цвета». Это затяжное вальсирование по всей площади соседской крыши кончилось тем, чем и должно было окончиться. Гюльбала – так звали, как вы помните ещё, нашего героя – насадил ее по пояс в торчащую там же неподалеку трубу. «Я бессилен что-либо к этому прибавить!» А что же можно было к этому ещё добавить? Его руки были сплошь исцарапаны, со лба градом стекал пот, ворот рубашки был воинственно распахнут! Чего же можно было ожидать от мастера, отдавшего всего себя первой же попавшейся «анте-е-енне»?!

Его любовь началась с первого же взгляда, как только он ее увидел.

– Здесь надо только восстановить две схемы, – и он раскрыл одну из коробок, служащих для исключения помех. – Видишь, вот, – показал он мне, – здесь стерлась вся пайка. Если её восстановить, все будет в порядке.

– Неужели эта беззубая старушонка может ещё хоть раз в своей жизни заговорить?

– Я верну ей молодость, дай только пять «мамедов».

– И она заработает?

– Как новенькая.

Я дал, что он просил, и он ушел, волоча за собой нашу разбитую старушонку. А через три часа появился на крыше покойного соседа, спрашивая, что же мы видим

на экране телевизора. Мы ничем не могли его порадовать, потому что экран телевизора исходил зелеными пятнами, как в определенные времена года озёра листьями лотоса в Японии. И к тому же он шумел, как если бы к нему присоединили не антенну, а сейсмограф. Во время вальсирования Гюльбала сорвал одну из тех коробочек. Но лицо у него было, как будто б он оторвал руку у своей взбалмошной дочери.

– Смотри, как я не выдержал и сорвал... Попробую-ка вновь её восстановить... Но, кажется, в этом уже нет никакой пользы... Смотри, что она со мной сделала, – и он показал исцарапанные до локтей руки... Да, эта любовь была не из легких! – Откуда я знал, что она окажется такой упрямой. Не хочет передавать сигналы, и точка! Видно, её кто-то обидел в том далёком прошлом...

– Это, верно, то самое инжирное дерево, к которому она было так легкомысленно прирепленa. Оно погубило её, освободив от вроде бы ненужных трубочек и оголив!

– Теперь эти трубочки, как сдаётся, не помешали бы нам. Но что поделаешь; вгоню-ка я её вот в эту полую трубу. Смотри, как она здесь задорно торчит!

– Ну, что ж; я-то ничего не имею против такого брака!

– Однако брак этот, заметь-ка, дорого мне обходится. Я весь – в царапинах и во рту у меня сухо, как в преисподней! Если бы за мои труды я мог заработать хотя бы на глоток пива, я бы, кажется, не роптал.

– Ты сказал, что глотка пива тебе будет достаточно? Тогда забирай мою бутылку прямо из холодильника, – предложил я, когда, обмокший и измождённый, он спустился с соседской крыши.

– Давай разопьём её; принеси-ка сюда лучше пустые бокалы.

– Нет уж, уволь; оно – твое; ты заслужил его; отнеси его домой и выпей.

...Он с самого начала понимал, что усилия его обречены на провал, иначе он так старательно не смягчал бы «т» и не тянул так непозволительно долго «е», произнося как будто бы не очень (даже для него) сложное имя «антенна». Если б он только знал, как ее починить. Она лежала перед ним, распластавшись на земле своими угловато-неудобными концами.

– Это – помехозащитные коробки. Их надо только обновить; на это уйдет пять «мамедов». Сейчас я покажу... – и он стал их корежить, показывая осыпавшуюся изоляцию. – Видишь, тут всё пришло в полную негодность...

– А как ты угадал, что произошло?

– Гюльбала не знает только дату конца света, и когда он в точности возник; а остальное – пустяки, разбросанные по краям его ума!

– Неужели?

– Разве я отказывал тебе хоть в какой-нибудь просьбе?

– Нет, кажется...

– Ну, тогда в чем же дело? Почему ты сейчас не хочешь мне верить? Ты не понял ещё? Знаешь, в чём источник всех твоих неудач и одного единственного успеха? В этом, – и он ударил себя по голове. – Так что впредь, прошу, нисколько не сомневайся во мне. Обращайся по любому поводу, и дело твоё будет в шляпе!

Но на сей раз шляпа, пожалуй, оказалась просторней, чем он думал, и «антенна» как соринка затерялась в ней. И он, кажется, догадывался об этом, о несовместимости этих двух вещей. И поэтому танцевал вокруг лежащей перед ним на земле угловато-острой антенны, повторяя её труднопроизносимое имя и при этом непроизвольно смягчая «т» и растягивая непозволительно долго «е».

Незабываемый сон

Около недели назад Мурад видел меня во сне. Мы с ним якобы навещали больного соседа. Оказывается, он некоторое время неважно себя чувствовал и нуждался в помощи. Я спросил у его жены, что нужно. Она достала рецепт и стала читать названия прописанных лекарств. Я записал эти названия на листочек, и мы с Мурадом вышли от него. Но когда мы входили в ворота нашего дома, нас нагнал незнакомый человек и сказал, что больной, увы, умер.

– Как умер? – недоумевал Мурад. – Мы только что были у него; и жена диктовала лекарства, которые мы собирались купить...

– И, тем не менее, он, видит бог, мертв...

Тут сон Мурада прервался, и на следующий день он рассказал его мне.

Потом мы с ним вышли прогуляться. Мы сделали большой круг по бульвару и проголодались. Был неустойчивый весенний день. Тепло солнечных лучей уносилось в море резкими порывами ветра. Мы наблюдали с художником за полетом чаек и как они использовали упругость ветра для зависания над волнами моря. Я думал, что полет чаек чем-то подобен удачным предложениям. Они тоже, пожалуй, должны быть такими же четкими и лаконичными; столь же точно, казалось бы, должны проходить по границе между противоборствующими силами, как полет чаек проходил между гравитацией и силой разрезаемых им воздушных слоев. Оно – предложение – должно быть простым и не банальным; понятным, и в то же время призывающим к раздумью; прошедшим, но могущим ещё повторяться; одним словом, оно должно быть таким же, как полет чаек!

Потом мы решили заехать в мастерскую, чтобы перекусить. Мы купили рядом с мастерской водку – ну, как же без нее после такого озонового душа! – сальцо – оно было свежее и толстое, как наши окрепшие от воздуха пальцы, – рыбные консервы и хлеб. Потом, наконец, мы сели в мастерской. Нарезали толстое, как наши пальцы, сало; бурый, как купальная губка, хлеб. Мурад карманным ножом вскрыл консервную банку, как будто он вспарывал брюхо у хищной акулы. Потом мы подняли вечно заляпанные жиром и остатками предыдущих трапез рюмки и выпили. Я разрумянился от того, что видел на море. Чайки стаями летели по моим разгорячённым щекам. В центре мастерской стояла картина «Восточный базар», писанная маслом в желтых и белых тонах. Над восточным базаром плыли белые женственные лица. Мы говорили об искусстве. Что общего между литературой и живописью? Только ли желание творить или ещё и желание писать? Я хочу писать, как летают чайки. Он хочет писать, как не писал никто. Потом мы разошлись, чтобы отдохнуть.

Я шел по таким улицам, чтобы ничто не могло отвлечь меня от назойливого желания попасть домой. Но на углу одной из близлежащих к дому улиц заметил плачущий силуэт. Это был Гюльбала, сосед по улице. Недавно он чинил у нас проводку, за что я и заплатил, поэтому я подумал, что он пьян и хотел было уже пройти мимо. Если б я прошел, он, верно, подумал бы, что мне показалось, что он пьян. Или, что мне ничего тогда не показалось. Или, что я решил не думать о том, что мне показалось. Но в последний миг я почему-то свернул. Теперь я, кажется, припоминаю, почему я это сделал. Пока он был далеко от меня, я изредка украдкой оглядывался, и каждый раз заставал трогательную картину его плача. Причем плакал знакомый мне сосед, который в обычной-то жизни был не однажды смешон! Хотя он и был смешон, но я не забывал и о другой стороне его жизни, которая могла бы вызвать, увы, одну только жалость. Достаточно было вспомнить его квартиру в узком и темном дворе, детей, ко-

торых он с грехом пополам растил; жену, согласную на любую, даже чёрную работу, и его пагубную страсть к спиртному. Смешон же он был тем, что без всякой подготовки и сразу же бросалось в глаза. Манерой ходить, как будто б он пританцовывал, короткими шажками и в домашних тапочках прямо на улице. Манерой говорить долго и сбивчиво, утомляя своих собеседников неизвестными им подробностями. И его неиссякаемым, несмотря на все эти «недостатки», оптимизмом, который не вязался ни с его домашними тапочками, когда он семенил в них по улице, ни с его страстной любовью к спиртному, ни даже с его малым ростом и, наконец, плешью на голове, как запретом этому росту. Теперь, напротив, что я видел, казалось мне печалью, а что не видел – диким смехом! Он плакал, как будто б его только что горько обидели, и он старался освободиться от обиды, как пресмыкающиеся отделяются от своей чешуи. Я подошел, чтобы помочь ему. И тогда он сказал, что умер мальчик на нашей улице, и не мог бы я выразить соболезнование его родным. Я ответил согласием, и мы прошли к палатке, у входа которой я выразил соболезнование стоящему там мужчине, и мы оказались внутри. Там было просторно и полупусто. Во главе траурного собрания сидел бородатый молла; высоко над его головой висел портрет симпатичного мальчонки. Молла что-то говорил; при этом двигались его подбородок и щеки. Люди – а их было немного – сидели за накрытыми столами. Кто пил чай, кто разговаривал с соседями. Эта обстановка, как ни странно, не угнетала. Даже Гюльбала успокоился – чешуя печали сходила с него.

– Отчего же умер мальчик? – спросил я, чтобы отвлечь его от скорби.

– Вечером у него поднялась температура; ему стало плохо. Поздно ночью родные решили, наконец, вызвать соседскую медсестру. Но она была недовольна тем, что вызвали ее, а не скорую. У мальчика было слабое сердце. «Что я могу сделать в такое время?» – повторяла она, пока всё шла к больному.

– А почему же не вызвали скорую?

– Думали, что сэкономят на этом. Вызывать ночью скорую – как пить дать – минус два ширвана. Нет уж, лучше вызвать соседскую медсестру. Пусть, бог с ней, она будет недовольна. Пусть даже будет их ругать. Но все равно, это лучше, чем ни с того, ни с сего лишаться целых двух ширванов. Наконец, она появилась; осмотрела мальчика. Конечно же, он ослаб; конечно, лучше было бы отдать эти два ширвана и вызвать скорую. Но что поделаешь, отец уже сунул ей в руку пять мамедов. Придется, видно, ей самой делать укол. Она и сделала такой укол, но мальчику стало совсем уже плохо. Сердце не выдержало и он, бедняга, умер у нее прямо на глазах. Вот так-то, – сказал в заключение Гюльбала, стихнув.

– Я, пожалуй, пойду, – ответил я. – А кто был тот мужчина, у входа в палатку?

– Отец мальчика.

«Странно, он выглядел как посторонний», – подумал я. Гюльбала проводил меня до выхода и вышел из палатки вслед за мной. Мы прошли с ним мимо отца мальчика, который, на мой взгляд, ничем не отличался от новоприбывших сюда мужчин. Я кивнул этой толпе, возящейся у палатки, и продолжил путь к дому.

– Спасибо, что зашел, – крикнул на прощание Гюльбала, и мне стало легче от сознания, что часть печали он уже, кажется, успел перекинуть на меня.

Из дому я позвонил Мураду и напомнил ему сон.

– Ну, конечно же, помню, – ответил он.

Тогда я рассказал, что произошло со мной.

– Не может этого быть! – воскликнул он в трубку.

– Почему же; разве ты не это видел во сне?

– Но ведь это был только сон!

– Кто сказал об этом?

– Я чувствую это, потому что рецепт там был, какими бывают только церковные послания. Таких рецептов я никогда не видел наяву.

– А ты видел когда-нибудь не похожих на себя отцов умерших мальчиков?

– Нет...

– Тогда и нечего пререкаться. Говорю же тебе, он не был похож на себя ничуть.

– Ну, что ж, теперь, кажется, начинаю тебе верить...

Профессор

Поздно вечером смотрел фильм Стенли Кубрика «Сияние», и он поразил меня проглянувшей в нём идеей, что художник, оторванный от реальности, безумен. Но это безумие сидит в каждом из нас. Мы все хотим уйти от реальности, чтобы потом вернуться к ней. Наша жизнь – своеобразная «дрожь» между реальностью и отсутствием её, которую мы обычно показываем. Чтобы найти объяснение реальности, мы должны выйти из неё, а проверить свои рассуждения можно, вернувшись в неё.

Другая идея фильма была ещё драматичней. Это соединение в человеке созидательного и разрушительного начал; некое динамическое равновесие между ними. Даже когда мы созидаем, продолжаем разрушать. А когда не созидаем, рассуждениям нашим нет никакого оправдания. Одна из напряжённых сцен в человеческой жизни заключается в борьбе между этими противоположностями.

...Недавно я застал одного из пожилых профессоров института в кабинете в позе прилежного студента, выполнявшего домашние задания, как будто б он находился во власти созидательного начала, подавив в себе разрушителя. Возраст, несомненно, помогал ему приблизиться к созиданию и отдалиться от разрушения. Но борьба не угасала и в преклонном возрасте, и поэтому только иллюзия могла способствовать вере в отсутствие такой борьбы. И пожилому профессору, верно, приятно было создавать эту иллюзию, веря в неё столь же искренно, как если б то была действительность. И на самом деле он был чист в этот момент от пороков – как юноша с многострадальным лицом профессора. Свет ложился ровным блеском на его лоб. Где-то рядом за ним ухаживала или занималась своими делами ассистентка, и ему было приятно её порхание, когда рядом с ней он погружался в увлекательные дела. Но между ними были отношения только прилежной сотрудницы и пунктуального начальника, ничего больше. Больше – хуже; он знал это и сознательно этого не желал. Да и она не позволила бы. А то почему бы временами не приласкать её, если из этого могла бы получиться идиллия, так сказать, служебная. А так, силой – зачем же? Лучше уж погружаться в занятия спокойно, вызывая у неё там, где-то в глубине души, маленькие зёрна любопытства, которые, кто знает, может быть, и дадут со временем всходы. И тогда он уже будет решать, разрешать ей или нет приближаться к нему. А пока надо отвлечься от этих мыслей и уйти по крутым лестницам страниц в глубину человеческих знаний. Пока рано о чём-то думать; надо просто развернуть книгу и впиться взглядом в белоснежные страницы… Это так чинно и спокойно, что не может не умилять…

В филармонии

Был на конкурсе вокалистов в филармонии, где на председательском месте в жюри сидела известная примадонна. Глаза у неё были цвета утренней морской волны. И взгляд её был ясным и чистым, как воздух рассвета. Её обрамлял сверху высокий, чёрно-белый, переходящий в пепельный оттенок гребень из густых тяжёлых волос. Она не могла уже легко двигаться и всё делала медленно, насколько позволяло ей усталое тело. Морщины на её красивых руках, украшенных кольцом и старинными перстнями, и атрофия ног, похожих больше на две палки – вот чем она платила за своё право сидеть на председательском месте. А её снимали молодые репортёры, как знаменитость, попавшую в интерьер местной филармонии, что вызывало, естественно, её раздражённое недовольство.

– Я пришла слушать не вас, – выдавила она возмущение по поводу реющего перед ней репортёрского воронья. «А вижу здесь только вас», – заключил её печальный взгляд из-под высоко поднятых бровей. – «Глупцы, ведь вы видите во мне совсем не то, что меня украшает, а что является моей хронической болью – старость! Зоркость своих глаз вы усиливаете новшествами современной техники, чтобы умножать число моих морщин, а никто из вас не осмелился взглянуть мне прямо в глаза и увидеть в них слабую женщину. Да, я слаба, но кто из вас знает цену моей слабости и где именно она заключена? А коль вы этого не знаете, то грош цена всем вашим репортёрским камерам, которыми вы так судорожно щёлкаете. Грош вам цена, если вы прилетели, чтобы только выделять и оттенять мою старость», – так она думала.

– Уберите их отсюда; отключите камеры, – сказал тот, кто исполнял обязанности администратора, главному в вороньей стае. И в последний раз щёлкнув аппаратами, так, чтобы запечатлеть стареющий лик примадонны, стая ворон отступила и рассеялась по зрительному залу, чтобы сделать эпизодические кадры.

Во время слушания я подумал: ведь для того, чтобы предпочесть одно исполнение другому, учитывалось множество обстоятельств: сила голоса, тембр, чистота, понимание исполнителем произведения, умение создавать образ и т.д. Но потом меня осенило, что примадонна пользовалась другой шкалой. И эта шкала – расстояние между уровнем исполнителя и исполняемым произведением. Голос давал исполнителю возможность изучить произведение. И чем богаче был голос, тем выше мог подняться исполнитель в понимании того, что делал. Когда он достигал определённого уровня, исполняемое им не то чтобы переставало быть загадкой, но хотя бы он понимал смысл этой загадки и мог представить её на суд слушателям. В дальнейшем он мог бы представить и свое собственное решение и даже одно из своих решений и т. д. Именно такой шкалой и руководствовалась примадонна, когда ставила свои оценки. И поэтому и кружили вокруг неё в виде вороньей стаи репортёры. И хотя они с помощью современных оптических устройств и размножали её морщины, но это был лишь внешний эффект, за которым скрывалось глубокое содержание. Примадонна была некогда певицей, обладавшей удивительным голосом. И этот голос вместе с тем, что скрывалось за её бесчисленными морщинами, дал ей возможность подняться на такую высоту, на которую поднимались лишь немногие. Именно этот уровень понимания музыки и собрал вокруг неё репортёров, а не её морщины, которые они с таким азартом запечатлевали на плёнках своих оптических аппаратов.

...Несколько дней до этого в исполнении московского пианиста и государственного оркестра я слушал ре-мажорный концерт Моцарта. И каждая нота этого кон-

церта как прозрачная капля скользила по волосам моего знакомого, который сидел в ряду впереди меня, и волосы, нет, каждый волосок его аккуратной причёски отсвечивался в электрической люстре, подвешенной под куполом. И Моцарт скользил по волосам, расчёсывая его своим мажорным гребешком: «Мол, ты не поймёшь, так хотя бы слушай!». И он слушал маэстро каждым волоском своей аккуратной причёски, забыв, что для этого предназначены уши. Каждый волосок его вибрировал под давлением Моцарта. Но под причёской, за затылком его было овальное округление в виде впадины, подчёркивающей возраст. И это вместе с лёгкой проседью придавало его внешности печальные оттенки утомлённости, которые, возможно, были ему незаметны. Но о них знал Моцарт, расчёсывавший его музыкальным гребешком как заправский цирюльник. Рядом с ним сидела двенадцатилетняя дочь (что-то вроде этого), и он как глава семьи представлял ей Моцарта, как своего личного цирюльника! Моцарт так умело разглаживал его волосы своим воздушным гребешком! Если она правильно будет себя вести, Моцарт поухаживает и за ней – вон он как крутится возле неё! Да только она не делает того, что хочется великому маэстро. Она закрылась от него своей упрямой головой. Посмотри-ка на папу, дочурка! Как он застыл под стрёкот ножниц аккордов! Как он понимает значение этой омолаживающей стрижки! Но тебе, конечно же, не надо молодеть. Посмотри тогда, как он играет с тобой и не надо так супиться. Но, может быть, он и не столь смешон, этот Моцарт. Вот посмотри, как он сейчас упал, и ножницы покатились по паркетному полу. Но вот он уже встаёт и, гримасничая – ну, и потеха! – идёт к фену. Сейчас начнётся сушка...

В перерыве, встав с места и выйдя в проход, он, конечно же, узнал меня. И я понял, что не ошибся. Он, хоть и постарел, но всё ещё сохранил прежние черты, по которым я и узнал его. Да, жизнь изрядно его подкосила и вряд ли ему теперь поможет Моцарт. Чем он занимался раньше? Всё это не лучшим образом было косвенно отпечатано на нём. Он опоздал на аудиенцию к великому маэстро – это было очевидно. И, наверное, поэтому он и привёл сюда дочь, чтобы, не дай боже, её не постигла та же незавидная участь.

...Неделю назад был на концерте в филармонии. Московский пианист играл Рахманинова – чётко и ясно. Нигде не мазал, но играл мягко, как будто хотел сказать, что Рахманинов не груб, а таков, каким вы слышите его. Он покладист и удобен, этот Рахманинов, вот что я скажу! И дирижёр втайне радовался этому открытию заезжего пианиста. – Что ж, не будем возражать, – как бы говорил он оркестру. – Сделаем вид, что поверили, и сыграем такого Рахманинова, которого он хочет – паиньку-мальчика и беззубого! Так играть, скажу, да и вы это понимаете, гораздо легче. Делайте с ним, что хотите, и никого из вас он не тронет! Ему вогнали сегодня в жилы изрядную дозу снотворного, и вы можете его тискать и мять, как заблагорассудится. Но, всё же, не сбивайтесь с ритма; он, хоть и не в себе, но все же Рахманинов! Так что будем блюсти приличия и уважать его, пусть и сонного! Главное – не разбудить его сейчас. Ещё несколько абзацев, которые мы исполним чётко и мягко, а там, глядишь, и славный конец. Вот и весь Рахманинов, который в обычном-то состоянии нагонял на вас такой страх. Благодаря московскому маэстро, мы сообща приручили его и показали зрителям. Слышите, как они бушуют. «Браво!» кричат. Значит, и им понравился сегодняшний наш Рахманинов. Что ж, и нам он понравился. Не кусался, не брыкался. А вёл себя покладисто. Что ж, и мы довольны таким Рахманиновым и самими собой. А публика довольна нами. Чем не концерт? Значит, он удался, чему подтверждением и долетающие из публики, правда, одинокие, «браво!»...

Размышления

Я скучаю теперь по той глубочайшей скуке, которую испытывал неизменно в Турции, и, поддаваясь ей, я скучаю теперь и по Турции, в которой её изведал. Итак, я скучаю по Турции и по скуке, которую там оставил … Если я вернусь в Турцию, вернусь ли я к своей скуке?... И она – скука – замкнётся тогда в кольцо, по которому пробегут мои мысли. И скука обернётся своей противоположностью, радостью. И я буду рад перемещению мыслей по кругу…

...Сейчас я думаю о Цимбелине, которого читаю в сборнике произведений Шекспира, и о Вагифе, рассказывавшего мне смачно в последний раз о сардельках, как он их ел вместе с другом… Я не очень любил сардельки, а тем более те, о которых он рассказывал… Но люблю его рассказы о нелюбимых мной сардельках… И то, что он их любил, казалось мне выходом из одиночества …

...Посмотрев фильм Апичатпонга, думал в связи с ним, а что есть сложное в мире и что есть в нём простое? Некоторые люди исключали всё, что казалось им сложным в жизни и, как им казалось, её упрощали. Но не теряли ль они вместе с этим и то, что бы могло упростить жизнь?

И ещё там было сказано о глухоте, что надо её предотвращать, пользуясь слуховым аппаратом. Но мама им не пользовалась – врач сказал, что это не поможет, так как причина была не в ухе, а в мозгу, у неё была гипертония. И она уходила в свою глухоту, изолируясь от нас всё больше. А в конце концов осталась одна, лицом к лицу со своей смертью. А мы собрались у её кровати и взывали к ней, но она, увы, уходила всё дальше, куда не могли ступить мы, – в притворы смерти…

Пока она слышала кое-как; нет, совсем уже плохо, дядя Назим прислал ей наушники, чтобы она могла слышать телевизор. И иногда она их надевала и слушала оперу, чтобы нам угодить… А однажды опера её втянула, то был Верди, и она захлопала в ладоши, чтобы показать, что не даром слушала, а ценила… И чтобы мы радовались этой сохранившейся её способности… Да, это было неожиданно, аплодисменты лежащей в кровати с наушниками мамы телевизионному просмотру известной оперы. Но потом всё меньше она пользовалась наушниками, и они были брошены в комод, стоящий под телевизором, и пылились… Пока не произошла её встреча со смертью… а наушники продолжали ещё пылиться…

Что ещё навеял фильм тайского режиссёра? Он снимал его в деревнях. И во время одного из массовых эпизодов на переднем плане случайно оказался мужчина, житель одной из этих деревень, потом он исчез… И я думал, что можно было бы ввести его в сюжет, как незапланированный элемент, например, говорил бы он, что меня не хотели снимать, а моя история не менее занятна, чем сюжет этого фильма, и т.д.

И ещё одна мысль мелькнула, все мы смертны! Но смертность во время жизни заключается во множестве смертей и следующих за ними воскресений. Нас убивает жизнь, например, невнимание друзей или равнодушие незнакомых людей или, наконец, безмолвие окружающей среды… Всё это убивает, но мы боремся с этим всю жизнь и благодаря этому воскресаем, чтобы чуть погодя ещё раз умереть … А мама не воскресла… Мы так надеялись на её воскресение… Но его, увы, не произошло… Она ушла от нас безвозвратно… И мы когда-то уйдём из этой жизни невозвратно… Одна из наших смертей будет, пожалуй, последней…

АЛЕКСАНДР ХАКИМОВ

КАЧЕЛИ БЕССМЕРТИЯ

Скажите – вы хотели бы… Нет, не так.
Скажите – вы согласились бы… Нет, и не так.
Сначала расскажу кое-что. А потом уже вопросы.

Обитает в Мировом океане гидроидная медуза Turritopsis nutricula. Ее с полным на то правом можно назвать «вечной» или «бессмертной», поскольку она практически не умирает от старости. Как это может быть? А вот так: достигнув предельного возраста, медуза начинает «жить в обратную сторону» – то есть молодеть, и молодеет она до тех пор, пока не «впадет в детство» – или, говоря по-научному, не достигнет стадии полипа… Затем медуза начинает взрослеть снова, и, достигнув предельного возраста, начинает молодеть. Помолодев – начинает взрослеть. Повзрослев – молодеть… и так без конца. По сути, **Turritopsis nutricola** никогда не подыхает от старости, ее жизнь можно прервать лишь грубым механическим путем. В лице этого студенистого зонтика с пучком щупалец мы имеем дело с подлинным бессмертием. Причем бессмертием особого рода: это не тот случай, когда организм, родившись раз, бесконечно стареет; нет, тут мы наблюдаем бессчетное количество случаев колебаний возраста организма от юности до старости и обратно.

Качели бессмертия. Я бы назвал это так.

Долголетие в мире животных и растений – не такая уж и редкость. Причем более склонны к долголетию низшие формы, имеющие примитивное строение. Вот, скажем, антарктическая губка, обитающая в холодных морях близ ледяного континента; обитает на глубине около 200 метров (туда не проникает солнечный свет), умеет сильно замедлять процесс обмена веществ и потому может жить от 5 до 15 тысяч лет. Или змеевидный коралл из Карибского моря, живущий 200 – 300 лет. Или красноиглый морской еж, у которого ученые никак не могут обнаружить никаких признаков старения и который живет 100 – 200 лет. Двустворчатая ракушка «циприна исландская», обитающая близ одноименного острова, получила имя «Мин» – в честь китайской династии, во времена которой она, ракушка, родилась (подсчитав кольца на раковине, ученые определили, что этому моллюску – более 400 лет). А возраст второго экземпляра такой же ракушки насчитывал 510 лет… Крупный морской моллюск «Гуидак», обитающий на западном побережье Северной Америки, может достигать возраста 170 лет (правда, дотянуть до столь почтенных годов ему мешают промысловики – моллюск съедобный, считается деликатесом у азиатов). Трубчатые черви, обитающие на большой (500 – 800 метров) глубине в Мексиканском заливе, доживают до 170 лет…

Водоросли, которые считаются примитивными растениями, тоже могут похвастаться долгожительством. Вид морских водорослей Posidonia oceanica – древнейший из обитающих на планете живых организмов, насчитывающий до 200 тысяч лет непрерывного существования. Уникальное явление живой Природы, эти водоросли размножаются клонированием, что позволяет рассматривать их как единый организм, существо, которое нашло способ практически бесконечно продлевать свою жизнь! Ученые установили около 40 областей их распространения в Средиземном море – на протяжении 3 с половиной тысяч километров, от побережья Испании до Кипра. Ранее древнейшим из существующих на планете живых организмов считались так называемые «Тасманские водоросли», чей возраст составлял 43

тысячи лет.

Более высокоорганизованные живые существа тоже, бывает, живут подолгу.

Из рыб это речные осетры (рекорд долголетия – 150 лет), сомы и щуки (до ста лет); а один из японских одомашненных карпов по прозвищу Ханаки дожил до 226 лет!

Черепахи. Ну кто не слышал о долгожительстве черепах… Особенно гигантских, с Галапагосских островов. Отдельные экземпляры достигали возраста 200 – 250 лет.

Гаттерия из Новой Зеландии – «живое ископаемое», практически не изменившееся за последние 220 миллионов лет существования, ровесник динозавров, рептилия, похожая на ящерицу, но, строго говоря, не ящерица… Живет по 100 – 200 лет, и в пожилом возрасте вполне способна размножаться.

Птицы. Ну, птицы… Попугаи, живущие по 300 лет, столетние вороны и грифы-падальщики…

Млекопитающие. Гренландский кит, стотонная громадина длиной в 20 метров… В XX веке у берегов Аляски был пойман гренландский кит, чей возраст достигал примерно 120 лет – в его теле нашли обломки гарпунов, выкованных в девятнадцатом веке…

Из сухопутных млекопитающих – некоторые азиатские слоны дотягивали до 85-86 лет…

А люди? Я мог бы привести здесь обширный список людей-долгожителей, но ограничусь одной женщиной и одним мужчиной. Например, француженкой Жанной Кальман, родившейся в 1875 году и умершей в 1997-ом. 122 года и 164 дня! За время ее жизни прошли две Мировые войны, человек полетел в Космос, был изобретен Интернет… Или, например, китаец Ли Чинг-Юн. Согласно записям китайского правительства, он прожил 256 лет (правда, сам Ли настаивает на числе 197 – честный человек!). В течение жизни Ли Чинг-Юн был женат 23 раза и заимел 180 детей…

Но это все долголетие. А как же бессмертие – заветная мечта многих и многих людей?

Увы, примеры человеческого бессмертия мы можем найти только в мифах, сказках и фантастике. Всем памятен Вечный Жид – старый склочный еврей, прогнавший измученного Христа от своего дома и потому обреченный не умирать аж до самого Страшного Суда… Или вот книга известного английского философа, священника и писателя-сатирика Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» (1727); в третьей ее части Лемюэль Гулливер посещает страну Лаггнег, где узнает про так называемых «струльдбругов» – бессмертных людей…

По словам Гулливера, время от времени у кого-нибудь из лаггнежцев рождался ребенок с красноватым пятнышком на лбу, над левой бровью. Это пятнышко означало, что ребенок никогда не умрет… Дети с пятнышком рождались так редко, что на все королевство Лаггнег насчитывалась всего тысяча с небольшим струльдбругов обоего пола.

…Бессмертный мог родиться в любой семье, его рождение – дело случая… Дети бессмертных, кстати, так же смертны, как и все люди. Но вот сами струльдбруги… До тридцатилетнего возраста они ничем не отличаются от остальных представителей рода человеческого. Затем они мало-помалу становятся угрюмыми, мрачными. Достигнув восьмидесятилетнего возраста (предел человеческой жизни, по лаггнежским меркам), струльдбруги превращались в дряхлых стариков – в общем, как и все обычные люди… Но струльдбруги «застревали» в таком состоянии навсегда…

Упаси Бог от такого бессмертия! – хочется воскликнуть мне, когда я перечитываю третью часть «Путешествий Гулливера». Струльдбруги мучаются особо – ведь мало того, что их мучают все слабости и недуги старческого возраста, их еще гнетет осознание того, что такое жалкое существование им придется влачить вечно…

Струльдбруги, по словам Гулливера, не только упрямы, сварливы, жадны, угрюмы и болтливы, они неспособны также к дружбе и любви. Зависть и неудовлетворенные желания непрерывно терзают их, завидуют они прежде всего юношам, которым доступны удовольствия молодости, и старикам, которые могут умереть… При таком раскладе

счастливчиками среди струльдбругов считаются те, кто впал в детство и потерял память.

«Как только струльдбругам исполняется 80 лет, – пишет Гулливер, – для них наступает гражданская смерть. Наследники немедля получают их наследство. Из наследства удерживается небольшая сумма на содержание бессмертного; бедные содержатся на общественный счет. По достижении этого возраста струльдбруги считаются неспособными к занятию должностей. Они не могут ни покупать, ни брать в аренду землю, им не разрешается выступать свидетелями в суде. В 90 лет у них выпадают зубы и волосы, они перестают различать вкус пищи и едят и пьют все, что попадется под руку».

Струльдбруги неспособны даже развлекаться чтением, отмечает Гулливер, так как они, дойдя до конца прочитанной фразы, уже забывают ее начало. Такая же петрушка у них и с языками. В Лаггнеге часто меняется язык, и струльдбруги, родившиеся в одном столетии, с трудом понимают язык людей, родившихся в другом столетии, а после двухсот лет вообще не способны вести какие-либо разговоры с окружающими.

Бессмертных практически ничто не интересует: когда Гулливера представили нескольким струльдбругам как известного путешественника, объездившего весь свет, бессмертные отнеслись к этому равнодушно, не задали Гулливеру ни одного вопроса и лишь клянчили у него мелкие подарки и сувениры. Эта мелочь, как оказалось, – некий благовидный способ выпрашивания милостыни в обход закона, строго запрещающего струльдбругам нищенствовать – ведь они содержатся за общественный счет, правда, очень и очень скудно. «Мне никогда не приходилось видеть такого омерзительного зрелища, какое представляли эти люди, причем женщины были еще противнее мужчин. Струльдбругов все ненавидят и презирают», – так завершает свое описание Лемюэль Гулливер. И еще: «Король (Лаггнега) весело смеялся и предложил мне взять с собой на родину парочку струльдбругов, чтобы излечить моих соотечественников от страха смерти».

Многие философы древности мечтали о бессмертии, видя в нем значительное накопление жизненного опыта и количества знаний: чем больше лет – тем больше мудрости! Свифт беспощадно показал изнанку этой мечты: не колоссальный опыт и кладезь знаний, нет – старческое бессилие и маразм, растянутые до бесконечности…

Я даже не спрашиваю вас, согласны ли вы на такое бессмертие…

Любопытный случай был также описан в рассказе американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Загадочная история Бенджамена Баттона», впервые опубликованном в 1922 году. Главный герой рассказа, Бенджамен Баттон, родился на свет глубоким стариком со всем присущим его возрасту богатым жизненным опытом. С годами и десятилетиями он неуклонно молодел, и «на склоне лет» превратился в орущего несмышленого младенца… и умер. Жизнь наоборот. Опять не спрашиваю, хотел бы кто-нибудь из вас оказаться на месте Бенджамена Баттона…

Ясен перец, желающие бессмертия желали бы не старость растянуть до бесконечности, а молодость или, по крайней мере, зрелость. Но такое было под силу лишь олимпийским богам, которые не знали ни смерти, ни износу…

…Бессмертие – это линейный процесс. То есть движение в одну сторону. Но случай с гидроидной медузой **Turritopsis nutricula** являет нам процесс маятникообразный: рождение – детство – зрелость – старость – зрелость – детство – зрелость – старость – зрелость – детство… и так без конца.

Говорят, ученые уже работают над тем, чтобы человек смог жить подобно гидроидной медузе. И вот теперь я хочу спросить у вас: согласились бы вы на такое бессмертие? По плечу вам будет такой жизненный цикл? Ведь никто пока не знает, сохранит ли человек при таких возрастных прыжках туда – обратно свой жизненный опыт, или память будет безжалостно стираться и всякий раз придется набираться ума-разума по новой… Медузе что – она живет вообще без мозгов, ей такие возрастные перепады не страшны…

Короче говоря – готовы ли вы покачаться на качелях бессмертия?

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

Марина

Посвящается Марине Цветаевой

В небе молния сверкает,
За собой маня грозу.
Вот она – сидит, читает...
Я на цыпочках войду.
В круглой маленькой беседке
Бьют старинные часы.
Мы с Мариною соседки,
Мы с Мариною на «ты».
На коленях у Марины
Рыжий кот урчит лениво.
Глажу я ее кота,
Мы болтаем до утра –
О животных в жизни нашей
И об алых парусах
На кораблике бумажном,
Что растаял в небесах...
Кто из нас кого здесь старше –
На неделю, век иль год?..
У нее стихи без фальши,
А у нас – наоборот.
У нее так строчек много!..
У меня – всего тетрадь...
У нее талант от Бога –
Мне уже никем не стать.
Ветер северный уносит
Со стола мои стихи.
Час настал. Марина просит:
– Расскажи – что впереди?..
Отведу свой взгляд стыдливо
От ее зеленых глаз:
– Ты счастливая, Марина,
В день счастливый родилась...
...Бой часов, красив и громок,
Оборвет беседы нить.
Я заплачу, как ребенок –
Нам судьбы не изменить.
По ногам хлестнет крапивой,
Ну, а в сердце – словно нож...
Ты прости меня, Марина,
За мою святую ложь.

Душа

Ах, какая душа все же глупая,
Ох, и глупая до обидного:
Все искала свою половинку она –
Половинка ходила мимо.
Сочиняла стихи в однокомнатной,
На гитаре рвала струны тонкие,
И кричала она в микрофон глухой,
Как ей грустно, как одиноко ей...
До чего ж ты, душа, противная –
Все не видит того, кто к ней ластится.
Подавай ей далекого милого,
На которого сотни зарятся!..
До чего ж она неразумная,
Вечно всюду во всем ошибается.
«Надо жить», – она как-то подумала,
Оглянулась – а жизнь кончается...

Потрясение

Лишь только стемнело – тряхнуло здо́рово!
Халат успела – на тело голое...
Бежала босая – не было холодно.
Как в трамвае, качало сонные головы.
Потеряв терпенье, природа злорадствует:
– Много тут всяких вас, гениев, шастает!
Мир Господь сотворил – скука, однообразие!
Чад своих распустил Он – до безобразия!..
...И качаются люстры и стены домов,
Словно бездна безумствует на стыке веков.

Марш гробокопателей

На кладбище сегодня шум и гам
Доносится лихая перекличка.
Мы сортируем кости по гробам,
Выкапывая гробики публично.
Когда же утрамбуется земля,
Дома взметнутся – в тридцать этажей!
«*...На месте мертвых строиться нельзя*», –
Вдруг высказался кто-то из бомжей.
...А мы ребята твердые. Лихие.
Мы – лучшие копальщики страны!..
Днем добываем черепа сквозные,
А ночью видим страшненькие сны.

* * *

У меня была весна
Скользкая и горькая.
Говорили, мол, вина
Вся – на перестройке.
А дома, как корабли,
Прорезались сквозь туманы
В них подъезды, как могли,
Вновь зализывали раны.
И распахивались двери...
По подмосткам длинных улиц
Шли бессонные метели,
Жарко хлопьями балуясь.
Говорила – не снесу...
Говорили мне – держись!..
Я несла свою весну
И ломала об карниз.
И зрачком сигналя темным,
Подымая хвост трубой,
Как за собственной мадонной
Кошки топали за мной.
В трубах рушились сосульки,
Плыло небо набекрень...
И по сути, и от скуки
Погибать мне было лень.

Кукла

Кукла моя танцует
в связанном мною платье.
Кукла моя рискует
попасть не в мои объятия.
Кукла моя не хочет
быть куклой в наших руках.
Кукла моя хохочет,
когда я лечу в облаках.
Редеют густые ресницы,
рыжеет смоль черных волóс...
Кукла моя боится
задать мне недетский вопрос:
«А где же тепло детских рук –
где плод твоих брачных ночей?..»
В ответ лишь шагов моих стук –
от кукольных прочь очей.
Кукла моя не спит,
не молится перед сном –
лет сто, как сидит и сидит
к постели моей лицом...

Романс старой иголки

«…Я – чуть погнутая игла
Для всяких ниток».
С.Стукалов

Я – ведьма с помелом,
Готический прикид.
И пусть судьба на слом –
Держу я прочно нить.
Ныряю и ввожу,
Стегаю и вяжу,
Грешна я только в том,
Что часто ворожу.
И сколько вам не спать –
Мне столько же работать,
Распутывать, нырять
В петельные ворота.
И мне так ярок свет,
И мой так зорок глаз,
Вплетая в амулет
Неистовый экстаз,
Нашивку пестрых пуговиц
На яркую тесьму…
Мне заменяет мудрость
Полеты на Луну.
Но будет пройден путь,
Когда я вдруг сумею
Случайно затянуть
Петлю на тонкой шее.
Обломится ушкó,
Рассыплется на части,
Погнутое брюшкó
Закинут в темный ящик.
Коль мне не ворожить –
Я нашепчу собратьям,
Как можно дальше жить
В эпоху кройки платьев,
Вонзаться, отдыхать,
И прятать пульс в подушки,
Резвиться, вовлекать
В игру своих подружек.
Лишь иногда забыться
Сном сладким на рассвете –
Внезапно провалиться
В щель узкую в паркете.
Но чьи-то пальцы целятся,
Царапают, скребут,

Мое стальное тельце
В испуге достают
И плачут отчего-то –
Я невиновна в том,
Что черною бедою
Заброшена в ваш дом…
Меж всяких кривотолков
Суть, в общем, лишь одна:
Я – ведьмина иголка,
Клубочная жена.

Вруша

Шутливое

В чужом раю я собирала груши,
И, может быть, тогда (кто разберет!..)
Случайно подцепила эту Врушу,
Которая живет во мне и врет.
Идет толпа веселая подружек,
Прохожий парень ускоряет ход:
– Как звать тебя? –
и моментально Вруша
Моя ему бессмысленно наврет.
Терплю врачей, перед начальством трушу,
Но спросят: «Как дела?»,
я – «Лучше всех!».
И тут же хмурюсь на нахалку-Врушу,
Которая одерживает верх.
Проходит время, годы пролетают,
А спросит кто-то: «Сколько тебе лет?» –
Меня все та же Вруша выручает,
Сведя мои года почти на нет.
Уже не помню, кто я в этом мире
И для чего я по земле бегу…
И ты не называй меня «любимой» –
Я все равно в ответ тебе солгу.
Не спрашивай – зачем, а лучше слушай,
Как учащенно бьется пульс во мне,
И, если хочешь, надкуси ту грушу –
Тогда, быть может, станем наравне.

Былые красавицы

**Я знала красивых женщин –
Когда-то, надеясь на шарм,
Царицами плыли беспечными,
В сердцах мужских сея бедлам.
А нынче бредут вдоль фонтана,
Считают монетки на дне.
Когда-то шептали им мамы:
«Ты, доченька, будешь в цене!»
И ходят еще кривотолки –
Внутри еще теплится страсть,
Блуждает по венам иголкой...
Былых фотоснимков власть,
Уложенных плотно в альбомы,
(А может, сожжённых давно)...
И бродит красотка по дому
В застиранном кимоно
С драконами и цветами –
Подарок последнего мужа...
Ах, ей бы поплакаться маме –
Но той уже это не нужно...
Ах, ей бы в любовь окунуться,
Как прежде, но снова в постель
Со страхом – к утру не проснуться –
Ложится она, как в метель.
Но так ли уж всё безнадёжно,
И жизнь – увядающий сад?..
В квартире двенадцать кошек,
Глаза их любовью горят.
Она их расчешет, накормит,
Согреет в артритных руках,
И, что-то далекое вспомнив,
Магический сделает взмах.
В хвостатую стаю вольётся,
К прыжку приготовится тело...
Как прежде, душа рассмеется,
И – рухнут мертвые стены!..**

* * *

**Ты, как прилежный ученик,
в своих тетрадках что-то пишешь.
Когда ты пишешь – ты не слышишь
души моей надрывный крик.
Я, как неверная жена,
иных творю себе кумиров,
в кого-то вечно влюблена...
И так и будет до могилы.**

У моря

Мы едем к морю на часок,
Проведать побережье.
Вот – море, волны...
Вот – песок...
Забыть бы про одежды,
От солнца, счастья умереть,
И – в воду бы, с разбега!..
Но января нависла плеть
И пахнет мокрым снегом.
И берег – одичавший рай,
Забывший лета зной.
И на моей ладони краб
С оторванной клешнёй.
Сместились полюса Земли,
Хоть лик ее прекрасен:
Йеллоустоун там, вдали,
Давно огнеопасен...
...Ты что-то чертишь на песке,
Усталый и ранимый,
И от *всего* на волоске –
По-прежнему любимый.

Пестрый апрель

По земле скакал воробей,
Шмель мохнатый полз по тетради,
Шел на цыпочках пестрый апрель –
Вел весну в нежно-розовом платье.
Все живое кружилось-вертелось,
Все чирикало и жужжало...
Что ж, вздохнула я, будем надеяться...
Попытаюсь начать все сначала.

ШИРИН МАНАФОВ

Юморески

Аризона, как она есть

Литературный мир потрясла сенсация! Скромный работник Центральной бакинской публичной библиотеки обнаружил в архивах неизвестную рукопись на английском языке. Почерковедческая экспертиза установила, что рукопись принадлежит классику американской литературы О'Генри. Дальнейшие исследования, проведенные совместно с литературоведами Смитсоновского университета, помогли установить, что рассказ в действительности принадлежит другому классику, Брет Гарту, и сих пор не опубликован.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию перевод этого рассказа, выполненный тем же сотрудником архива, настолько скромным, что пожелал остаться неизвестным.

– Вчера Бесс задала-таки концерт Файлу Бимроу, – говорил Арт Хендсон своему приятелю Джейку Ракстону.

Друзья допивали по третьей кружке пива в тихом, прохладном баре Чака Кокомо, откуда открывался чудесный вид на городок старателей Панк-бич, если, конечно, подняться на крышу бара.

– По-моему, она настолько увлеклась, что даже треснула его по темени рукояткой кольта. Каково тебе?

– Ничего с его теменем не станется, – ответил Джейк убежденно. – Помнишь, в каком он был вчера состоянии, когда мы волокли его домой?

– Вроде бы и так, только бедняга не слышит теперь на правое ухо, – возразил Арт. – Он требует от жены компенсацию за нанесенное увечье.

– От них дождешься, – глотнув пива, сказал Джейк. – Слушай, давай замолкнем, а? Что-то мне тема эта, про взаимоотношения полов, поднадоела.

Приятели молча принялись каждый за четвертую кружку, кося глазами на одутловатую физиономию бармена Чака, изученную ими до последней морщины.

– Давно такой жары не было, вот что я скажу, – произнес наконец более экспансивный Арт.

– Точно, – пожевал губами Джейк, глядя в окно. – Слушай, а куда это шериф поскакал? Опять кто скот ворует?

– Да нет, – ответил Арт, прислушиваясь к удаляющемуся топоту копыт лошади шерифа. – Он отправился на поиски твоей жены, Джейк. Она сегодня утром дала деру из твоей хибары. Я думал, ты в курсе, приятель.

– Нет, про это мне ничего неизвестно.

На Джейка было интересно смотреть. Казалось, его огрели чем-то очень тяжелым.

– Так ты действительно не в курсе, Джейк, – почуяв жареное, проснулся толстяк Чак Кокомо. – Или разыгрываешь нас, сынок?

– Чак, мы знакомы уже двадцать лет, – обиделся муж беглянки. – Я уже два дня

не был дома. Откуда я мог знать, какие планы на субботу у моей жены. Я не должен следить за тем, что взбредет в голову этой женщине.

– Как скажешь, – устыдился Чак Кокомо.

– Какого черта ты не сказал мне раньше, Арт? – Джейк посмотрел на своего старого приятеля так, как если бы ему сказали, что перед ним губернатор штата Невада.

– Ты же сам говорил, что тебе порядком поднадоела эта тема, – удивился Арт. – Мол, лучше молча пить пиво, чем молоть всякую чепуху.

– Ах да, извини, – смутился Джейк. – С этими бабами можно окончательно свихнуться.

Из дальнего угла бара к стойке подошел тип по имени Стенли Бенс, авторитетный в штате угонщик скота.

– Вот как оно всегда бывает, – Стенли хлопнул Джейка по плечу, подмигнув одновременно Арту. – Тебя кто-то обидел, а ты хорошего человека обижаешь.

У Стенли Бенса всегда было сложно по части словарного запаса. Он отыгрывался на чувстве локтя.

– Хорошо, парни, – воскликнул Арт – А кто тогда обещал семьсот долларов за поимку Элайзы Ракстон, в девичестве Джейн Форестоу? Я сам читал сегодня утром на столбе напротив конюшни Хапуги Декстера.

– Кто мог дать? – умиляясь так хорошо начинающемуся дню, сказал бармен. – Муж. Джейк, то есть.

– Но Джейк-то не знал, что его жена убежала, – пряча, насколько возможно, лицо от стоящего рядом приятеля, сказал Арт. – Муж не знал, что его жена убежала. Понял, Чак? Он не мог дать объявление о поимке. Это тебе не пойлом торговать, толстяк.

– Постойте, постойте, дайте глотнуть пива! – воскликнул Джейк. – До меня что-то не доходит, и я кое-что начал понимать. Так по-твоему, Арт, выходит, что жена из дому убежала моя, а объявление о награде за её поимку дает кто-то другой, а не я. Верно?

– Ну и котелок у тебя, – восхитился еще один завсегдатай бара Чака Кокомо по имени Дик Стедмен, картежник, тварь и наемный убийца.

– Может, у нее еще кто есть, кроме тебя? – предположил Арт. Он был задумчив, в голосе звучало сочувствие и искреннее желание помочь другу разобраться в сложной ситуации. – Не хотелось тебя обидеть, но сдается, ты у Элайзы не один.

– Будь ты проклят! – завопил Джейк, хватаясь за рукоятку своего кольта. Он легко отшвырнул насевших на него сзади Безила Остина и Стивена Райта, двух старых приятелей Арта и, конечно же, завсегдатаев бара. Отшвырнуть их было парой пустяков, еще никогда на свете им не удавалось пресечь готовящееся преступление. Да они и не очень стремились, по правде сказать.

– Да угомонись ты, парень, – спокойно сказал бармен. – Мы тебе хотим помочь выпутаться из этой паршивой истории, а ты хватаешься за ствол. – Арт хотел сказать, может, у нее брат есть или другой какой родственничек?

– Да нет у нее никого, кроме меня, – ответил Джейк. – Что мне-то теперь делать?

В баре воцарилась торжественная тишина.

– Минуту, парни! – Элиас Трибли, спившийся почтовый служащий, конечно, не мог упустить случая, чтобы не оказаться в центре внимания. – Ко мне на почту утром

заявился странный тип. Нездешний. Ладный такой парень. И сказал он мне такие слова: «Как у вас тут насчет гостиницы?» Я ему посоветовал обратиться к вдове Майкла Снойперса. Парень ухмыльнулся и говорит: «Я не за этим сюда приехал. В вашем городке скоро представится случай подзаработать семь сотен». «Ага, – говорю я ему, – мистер нашел нефть? Мы все изнываем от нетерпения». Он отвечает: «Да нет. Просто скоро надо будет найти в прериях одну заблудшую телку. Светло-рыжей масти». Джейк, извини, какого цвета волосы у твоей жены?

– Парень тот знал, что говорит, – буркнул Джейк сумрачно.

В салуне вновь воцарилась тишина. Но это была тишина, насыщенная напряжением, мыслью, а не скукой. За карточным столом назревал скандал, но картежники тактично не открыли пальбу. Им бы этого не простили.

Бармен выставил присутствующим по кружке пива за счет заведения. Рассказ об утреннем визите приезжего ломал довольно ладно скроенную версию.

– Пораскиньте мозгами, ребята, – сказал Джейк, как бы признавая, что от него этого ждать не приходится.

Покинутый муж умоляюще посмотрел на Арта и Стенли, признанных самыми смышлеными парнями Среднего Запада.

– Я так думаю, – кивнув головой в благодарность за пиво, сказал Стенли. – Тебе, Джейк, повезло, жена у тебя, видать, ловкая бабенка. У нее богатый любовник, который, видать, ей надоел не меньше, чем ты. Иначе давно убежала бы от тебя. У нее есть, ясное дело, любовник помоложе, он и заходил сегодня на почту. Вот она ему и сообщила заранее, что скоро убежит из дома, и что ее старый любовник наверняка объявит награду за ее поимку. Поскольку ты этого делать явно не намерен.

– Да если бы у меня было семь сотен, – взревел Джейк, – неужели бы я не знал, как их потратить?!

– Вот и я говорю. Готов биться об заклад, что этот парень знает, где искать твою супругу. План их таков. Он возвращает ее домой, получает семьсот долларов от любовника твоей жены, и они, прихватив деньжата, дают деру из нашего штата.

– Но есть и вторая версия, – со стула поднимается Билл Кейт, не сказать, чтобы очень авторитетный, посредственный шулер и великий брачный аферист. – Старик-любовник, чтобы деньги не уплыли из его кармана, прежде чем объявить столь крупную награду, сообщает кому-то из своих, допустим, сыну, где надо искать беглянку. Об этом говорит слишком крупная сумма. Ясное дело, жене твоей в поселке не жить. Женщины затравят от зависти. Помните, как чуть не растерзали в прошлом году метиску Терезу Сандерс, когда прознали, что кто-то за ночь с ней заплатил сто долларов. А тут семьсот, да еще после восьми лет брака с пьяницей и нищим бродягой. Извини, Джейк, но согласись, восемь лет брака с пьяницей не красят женщину.

– Само собой, – ответил Джейк, пожав плечами, и спросил: – Каков твой план?

– Прочесать округу. Найти того малого, что приходил на почту. Не трогать, следить за ним, он выведет на ее убежище.

– Дело говоришь, Билл – поддержал друга Стенли. – Малый точно выведет к конечной цели. Главное, не укокошить его раньше времени.

– За это будьте спокойны, – заявил Джейк, – Я не прихлопнул Марвина Кретмера, когда на свадьбе дочки Френка Бичера у меня на глазах он поцеловал ее в губы. Верно, Марв?

Марвин Кретмер, ковбой с дальнего ранчо, важно кивнул головой.

– Я тебе до сих пор благодарен, – проговорил он и вновь погрузился в нир-

вану.

– Плутовка хочет с молодым хахалем наколоть своего богатого любовника, – произнес необычно длинную для него фразу бармен.

– Ничего, Лизи, мы твою карту перешибем, – сделав самый большой глоток за день, произнес Джейк.

Затем вскочил со стула, выхватил из кобуры свой кольт и сделал то, о чем мечтал с детства: выстрелом в горлышко разбил одну из бутылок на стойке. Не то, чтобы это очень понравилось бармену. Но сегодня был день Джейка. И раз Джейк решил насладиться им в полной мере, не стоило ему мешать.

– Отличный выстрел, – сказал бармен, наливая в стакан виски, – ты сегодня в ударе, малыш.

Кажется, Джейк стал трезветь. Во всяком случае, настроение его испортилось. Он медленно оглядел присутствующих, и в его взгляде было так много всего по части отчаяния, жалости и мольбы о помощи, что никто не смог выдержать этого. Остин, Райт и Бенс уставились в разные участки потолка, бармен сосредоточенно протирал бокалы. Арт сделал вид, что у него разыгрался гастрит.

– Значит так, парни, – медленно, почти торжественно произнес Джейк. – Надо найти эту мерзавку. Верно говорю? Я думаю, ей не составит особого труда назвать людей, способных отвалить за ее поимку семь сотен.

– Точно, Джейк, – одобрительно тряхнул головой Чак. – Элайза неглупая женщина и наверняка знает, кто захочет дать за нее такие деньги.

– Хотя бы скажет, среди кого искать, – поддержал идею Чака Арт. – А мы вычислим мерзавца. Вернее, мерзавцев, старого и молодого.

– Кто-то ведь должен быть на ферме, пока ты околачиваешься неизвестно где, – как бы оправдываясь, сказал Джейк. – А так, на черта она мне сдалась?

– Да все в порядке, Джейк, – сказал Арт, – тебе незачем оправдываться. Каждому в твоем положении желательно подъехать к жене на расстояние выстрела и заглянуть в глаза. Неплохо бы заодно задать вопрос: слушай, детка, а за что такая сумма? Ранчо Мэтью Симпсона со стадом в двести голов продано на той неделе всего за 470 долларов.

– Жаль, что тебя давно не было дома, – не без осуждения сказал Стенли. – Ты мог бы понаблюдать за ее приготовлениями к побегу.

– Тебе ведь интересно, чего это она вдруг убежала? – спросил Арт. – Ведь так, Джейк? Тебе интересно?

– Да по правде сказать, не очень, – сознался Джейк. – Во всяком случае, до того момента, пока я не узнал, сколько дают за ее поимку. Она часто убегает. В первый раз это было в ночь после свадьбы. Ровно через неделю нашлась. Заявилась к утру. Но сама, я ее не искал. Так что медовый месяц у нас получился несколько скомканный. Ей со мной не очень сладко, городская штучка.

– Кстати, насчет вознаграждения, – с интересом выслушав приятеля, сказал Арт. – Если Элайзу Ракстон найдешь ты, то и деньги получишь ты. В объявлении про мужа ничего не сказано. Супруг имеет право на вознаграждение, как и любой другой участник поисков. Так что твои права не ущемлены.

– Спасибо, Арт, – проникновенно сказал Джейк. – Мы это дело отметим с тобой. Когда мне дадут это самое вознаграждение, заодно я узнаю, кто ее дружок в нашем штате. Верно?

– Умница, – восхищенно сказал Стенли Бенс. – Не забудь поставить по стакан-

чику, все-таки это мы подкинули тебе идею насчет поимки Элайзы Ракстон.

– Само собой, Бенс. – Джейк пропустил мимо ушей слишком уж явственно прозвучавшую иронию и задумчиво сказал: – Где ее носит, вот в чем вопрос? Год назад я еще знал, где ее искать. На ранчо Койота Тайсона. Но Тайсон перебрался во Флориду. Она требовала, чтобы он на ней женился.

– Два человека могли дать объявление, – решительно сказал Арт. – Либо ты, Джейк, но ты отпадаешь, либо э.... любовник мисс Ракстон. Извини, Джейк, я слишком долго жил в Техасе, там в подобных случаях говорят то, что думают.

– В Техасе слишком много толковых ребят, – буркнул Стенли Бенс. – Целые кладбища из одних толковых.

– Поеду-ка я к Паучьей Балке, к хижине траппера Хеттона, – сказал Джейк. – По-моему, у нее шашни с этим пионером прерий. Начиталась Фенимора Купера.

– Я бы мог еще кое о чем порассуждать, – загадочно сказал Арт, – если, конечно, ты не возражаешь.

– Я слушаю, – сказал Джейк.

– Насчет старика Хеттона промашка. Не хотелось тебя огорчать, но у них давно все в прошлом. Не стоит понапрасну беспокоить старого пионера. Она дала ему отвал еще летом, когда мексиканцы угнали скот Венса Рэди.

– Поезжай-ка ты лучше на ранчо к Энди Макартуру, – посоветовал Сэм Джап.

– Спасибо, Сэм, – с чувством сказал Джейк. – Только не дело вмешиваться в личную жизнь друга. Энди ведь твой друг?

– Мне просто хотелось тебе чем-то помочь, – с ненавистью прошипел золотоискатель, и рука его потянулась к кобуре.

Тактичный Стенли Бенс молча, с извиняющейся улыбкой скрутил руку золотоискателя за спину. Джап благодарно посмотрел на Стенли. Не подоспей он, и золотоискатель был бы вынужден выпустить кишки из этого рогоносца Джейка, и неплохо начавшийся денек покатился бы по обычной банальной колее типичного городка Среднего Запада. Везучий золотоискатель Сэм Джап терпеть не мог, когда бездельники и пропойцы вроде Джейка Ракстона толкуют о дружбе, кодексе чести и прочей ерунде, в которой ни черта не разбираются.

Поблагодарив кивком Стенли Бенса за помощь, Сэм Джап вполне ровным голосом сказал:

– Я думаю, тебе помощь сейчас нужна больше, чем моему приятелю. Перед Энди я извинюсь, конечно, если ты промахнешься.

Джейк залпом осушил предложенный барменом стаканчик виски, окинул орлиным взором друзей и решительно направился к выходу. Вдруг он остановился, резко обернулся и удивленно спросил:

– Ребята, а вы не пойдете со мной? Ты, Бенс, отродясь ведь более трех долларов не имел. И ты, Остин, кругом в долгах.

– Это твоя игра! – Арт крепко хлопнул Джейка по плечу. – Мы другу не помеха...

К Джейку подошел Стивен Райт, предусмотрительно изобразив на лице смущение, спросил:

– Может, тебе нужна помощь?

– Спасибо, Стив, это мое дело! – решительно произнес Джейк.

– Только не подумай, что я из-за денег, – продолжал резвиться Стив. – И запомни. Я не хотел тебя обидеть.

– Тебе не следовало предлагать свою помощь, – сказал осуждающе Арт Стивену и обратился к Джейку. – Будь спокоен, если кто-то вздумает поохотиться за твоей кобылкой, мы ему враз вправим мозги.

Остин чуть не испортил дело – вдруг поперхнулся пивом, закашлялся и неприкрыто, нагло захохотал.

– Айки, – тихо позвал бармен вышибалу, сидевшего незаметно за ближним столиком.

Айки, здоровенный детина, по слухам, чемпион Аризоны по боксу, дважды слегка хлопнул ладонью Остина по спине. Тот распластался на полу.

– Могу я слегка разрядиться? – поднимаясь, строптиво сказал Айки, встретив недовольный взгляд бармена.

Как честный малый, Айки не скрывал, что единственный центр, который работает у него отменно – это вестибулярный аппарат.

– Не обращай внимания, Джейк. Ему не доводилось иметь дело с женщиной, за поимку которой дают семьсот долларов.

– Спасибо, ребята, – несмотря на сорокаградусную жару, Джейк, казалось, был растроган и не скрывал этого.

Хлопнула дверь, тревожно заржал конь, увидев хозяина, выходящего из салуна в такую рань. Через минуту дверь вновь широко распахнулась и Джейк, разгоряченный, заранее вспотевший от предстоящей погони, попросил:

– Арт, подтверди насчет семисот долларов.

Просьба вызвала у завсегдатаев салуна потрясение, как если бы, например, бармен Чак Кокомо стал накрывать столы скатертью.

– Приз семьсот долларов, – решительно сказал Арт. – Ну, конечно, сто монет придется дать шерифу, но и шесть сотен за такое плевое дело не пустяк.

Лицо Джейка стало непроницаемым, понять, что он испытывает, было невозможно. Шесть сотен, по меркам поселка – два месяца кутежей с самыми дорогими танцовщицами из публичного дома «Идеал республиканской партии». Хотя, черт его разберет, может, Джейк испытывал гордость за свою супругу, да и за себя тоже, убежала-то она на восьмой год супружества. Крылья славы накрыли и его цыплячью тушку мимолетной тенью. Все может быть. Отношения у них с Элайзой были запутанные, но не без светлых промежутков, в основном, когда он месяцами не заявлялся домой.

Джейк вскочил на коня и с гиканьем промчался по сонной пустынной улице поселка Гремячая Ложбинка. Он направился прямо на ранчо Энди Макартура.

– Бедняга Джейк, – усмехнулся Арт. – Энди уже месяц как отдал душу богу.

– Интересно, он догадается заехать домой? – в голосе Сэма Джапа прозвучала озабоченность.

Арт и Стенли Бенс переглянулись. Сэм Джап, поговаривали, набрел-таки на золотую жилу и поэтому тоже представлял интерес для розыгрыша.

– А что если на самом деле ее украсть на пару деньков, ракстонову супругу, – сказал удачливый золотоискатель.

Арт обвел взглядом салун. Охотников скакать по жаре не оказалось. Бар вновь погрузился в свое обычное дремотное состояние, когда безмозглый полет мухи – событие, за которым следят двадцать пар глаз.

Через час в салун ввалился измотанный шериф. Он на одном вздохе осушил две кружки пива, стакан виски и стопку терпкой мексиканской текилы.

– Тухлое дело, ребята, – сказал шериф, – пропал дилижанс, как в воду канул. Опять штучки Бешеного Майкла и его подруги Бианки. А куда этот псих Джейк помчался во весь опор? Я ему кричал, что мы ничего не нашли, и облава назначена на завтра. Но ему было, видно, наплевать на все. Такое у меня создалось впечатление.

– Шериф, что если Арт проведет вечерок в твоей каталажке? – спросил бармен. – Мы тут порезвились малость с Джейком, а он ... То ли любит ее, то ли деньги нужны. Мы еще не разобрались толком.

– С тебя бутылка, – шериф хлопнул Арта по плечу.

– Спасибо, шериф, – сказал Арт. – Я всегда знал, что тебе устроить человека на ночь в каталажку не составит труда.

Треуголка Наполеона

– В Очамчира отличный музей, – сказал мне Гела, великолепный саксофонист и мой друг.

С тбилисцем Гелой нас сблизил Дюк Эллингтон, можно сказать, мы братья по Дюку.

В музее нас ждало чудо. Отдел средневековья ничем не заинтриговал, и мы хотели пройти в соседний зал. Экскурсовод преградил нам путь и сказал:

– Сюда нельзя.

– Почему? – спросил Гела.

– Там шляпа. Его, – гид закатил глаза к потолку.

– Брежнева? – спросил я. В 1980 году вопрос был очень уместен.

Гид смерил меня презрительным взглядом, но снизошел и сказал:

– Императора.

– Какого? – переходя на заговорщический шепот, спросил я.

Гид многозначительно поник головой и, взяв на октаву ниже, произнес:

– Наполеона.

– Неужели Бонапарта? – вырвалось у Гелы.

– Бичо, – злобно усмехнулся гид, – мы фуфло не держим.

Решив, что обработка завершена, гид позволил нам пройти в комнату, в центре которой на высокой тумбочке мы увидели знаменитую треуголку.

Мы дружно застонали. Гид позволил мне, как гостю республики, надеть на голову экспонат номер 14 и сфотографировал меня. Снимок стоил очень дорого – 20 рублей. В 1980 году – и в этом была, конечно, большая заслуга Брежнева – на эти деньги можно было неплохо пообедать вдвоем в приличном кабаке. Глядя на знаменитую треуголку, я испытал потрясение, равное тому, что охватило меня, когда я впервые услышал блюз Дюка «Rocking in the Rhythm». Гид настойчиво предлагал Геле взять в руку саблю и встать рядом со мной.

– Неудобно, стоишь рядом с Бонапартом, и без сабли, – процедил он сквозь зубы.

– Плевал я на всех императоров и их шляпы, – неуверенно произнес Гела.

– Плевать на шляпу Наполеона, трепеща.... Честнее промолчать.

Дрожь в голосе саксофониста и послужила началом сочиненной нами джазовой композиции. Благодаря этой самой дрожи композиция обрела цитату.

Гела перебрался из ансамбля «Реро» в модный тбилисский кабак.

Ему хронически не хватало денег. Он их не любил, но их не хватало катастрофически много и, что самое противное, постоянно. Дело было не только в деньгах. В последнее время Гела заштамповался, стал скован, зануден, апатичен, куда-то девалась двусмысленность музыкальных фраз. Отчаявшись, Гела даже подумывал, не сесть ли на иглу. Но в последний момент решил – лучше зашибать бабки, а игла подождет.

После Очамчира мы поехали в Новый Афон. Неподалеку от входа в знаменитую пещеру стоял мальчик с плакатом в руке, и я с изумлением прочитал: «Посетите музей, личные вещи Багратиона и Наполеона». Гела поспешно предложил пойти в кафе. Там мы тему Наполеона не поднимали. Потом мы поехали в Сухуми. Через день оказались в Кобулети. В местном музее мне, как гостю республики, позволили взять в руки уникальный экспонат – треуголку Наполеона. Кобулетский гид был на загляденье, великолепное творение черноморского карнавала – свирепый изгиб густых бровей, красный нос крючком, волосатые уши, торчащие перпендикулярно лысине цвета какао в привокзальной забегаловке. Гид принадлежал к тем типам, что вертятся у режиссеров под ногами, превратив вымаливание роли в саму роль. Когда я отказался сфотографироваться в шляпе великого полководца, гид изумленно воскликнул:

– Всего за пять рублей. В этой шляпе Наполеон вел сражение под Ватерлоо, – с угрозой в голосе воскликнул гид и добавил: – Черт с тобой, давай четыре рубля.

Я показал ему фото, снятое в Очамчира – я в спортивных финках и в треуголке. Гид с трудом удержался, чтобы не порвать фотографию.

– Это подделка, – заявил он. – Единственная настоящая шляпа Наполеона на всем Кавказе находится именно в нашем музее. Вот свидетельство французских экспертов.

Извлекает из треуголки пожелтевший лист бумаги, бубнит что-то по-грузински, машет им передо мной и вновь прячет в шляпу.

– Странно, французские эксперты прекрасно владеют грузинским, – сказал я, преследуя невиннейшую из целей – довести до белого каления гида-трепача.

Гела отошел в сторону и сделал вид, что он целиком погружен в созерцание картины «Утро на Эльбрусе» Айвазовского.

Мне показалось, что гид начнет сейчас извлекать из шляпы Наполеона яйца, ленты, шарики, теннисные мячики и прочую факирскую дребедень.

– А как относится местная моль к мифам и легендам великой французской революции? – спросил я гида.

– Жрет, – с гордостью за отечественную моль ответил гид. – Ничего святого у твари.

– Интересно, сколько шляп подарил император Крыму и сколько кавказскому побережью Черного моря? – задав вопрос, я быстро извлекаю из кармана блокнот и ручку.

Перед гидом стоял любимый экскурсоводами всего мира тип: турист записывающий. Краевед сделал вид, что я ему симпатичен, и, наморщив лоб, начал вешать лапшу: по данным последней переписи экспонатов в музеях Крыма и Грузии имеется сорок одна треуголка великого деятеля французской и мировой истории, а также семь повязок одноглазого адмирала Нельсона и 270 картин Айвазовского.

– Из них 38 шляп и пять повязок находятся в музеях Грузии, – с гордостью за оперативность родных краеведческих музеев сказал гид. – За последние пять лет, в

связи с ростом туризма, – в этом месте глаза его сверкнули с особым блеском, – количество шляп Наполеона и повязок адмирала Нельсона в музеях республики увеличилось в два с половиной раза. Каждый курортный город считает своим долгом приобрести шляпу великого француза, саблю, пистолеты и эполеты.

– Вот эта шляпа, – гид осторожным щелчком сбил пылинку с драгоценного экспоната, – обошлась музею в 16 тысяч рублей.

– Уверен, – сказал я, не поднимая газ с блокнота, – у шляпы именно вашего музея удивительная история.

– Конечно, дорогой, – вопрошающе поглядывая на Гелу, сказал гид, – эта шляпа особая. Ее Наполеон подарил князю Багратиону в знак восхищения его отвагой и мужеством. Это произошло в Германии в 1807 году. «Князь, – воскликнул Наполеон, снимая с головы шляпу, – вы герой битвы под Дрезденом». И одевает шляпу на голову Багратиона. – С этими словами гид протянул треуголку мне: – Одень ее на голову и ты поймешь, что тогда испытал Багратион, получив ее из рук самого Наполеона. Память останется на всю жизнь, фотография стоит всего пять рублей. Дешевле вас не сфотографируют нигде.

– Говорят, император Александр Первый очень обиделся на Багратиона за то, что тот отказался преподнести царю шляпу Наполеона, – подсказываю гиду новую тему.

– А ты поставь себя на место Александра, – гид был не промах и сделал вид, что именно этот вопрос ему задавали тысячу раз, – вот ты царь, а какой-то флигель-адьютант не отдает тебе шляпу самого Бонапарта. Конечно, взбесишься. Так что у императора России отношение к нашему Багратиону было холодное, – гид скорбно опустил глаза, – зависть.

Торопливо записывая, вкрадчивым голосом, чтобы не спугнуть редкую птицу, спрашиваю:

– Где-то читал, что Кутузову Наполеон подарил целую дюжину своих шляп. Сразу после Бородина.

Гид напрягся и встревоженно посмотрел на Гелу – ты кого привел и на чьей ты сам стороне?

Гела антипатриотично уставился на выполненную из пластилина группу питекантропов, выделывавших шкуру убитого мамонта. Судя по размерам туши и по тому усердию, с которым питекантропы скребли шкуру, это был здоровенный старый самец. Гела наконец оторвался от питекантропов и решительно направился в нашу сторону.

– Гела, отойди, спугнешь, – прошептал я. – С меня бутылка «Саэро».

Гела угрожающе машет мне кулаком и возвращается к своим питекантропам.

– Уникальный тип, абсолютно не интересуется историей своей страны, – сказал я гиду. – Умоляю, продолжайте, записываю.

– Насчет Кутузова я тоже что-то такое читал, – окинув презрительным взглядом Гелу, медленно говорит гид. – Только во время революции родственники Кутузова вывезли все шляпы Наполеона за границу и продали по бешеной цене на аукционе Сотби. К счастью, вывозили через Поти, и мы успели вырвать у них пару штук. Вот эта, – гид с нежностью посмотрел на треуголку, – была чудом спасена. Год назад один французский турист предлагал мне за нее двести тысяч франков. Я отвел его в сторону и сказал...

– Родину не продаю, – захлопывая блокнот, сказал я.

Гид был разочарован моей догадливостью.

В музее я купил туристическую карту Грузии, на которой рядом с девятью городами и поселками на побережье была изображена треуголка самого обаятельного из европейских узурпаторов. Геле я карту не показал, иначе он ни за что бы не повез меня в Цагери, где мне, как гостю республики, предложили сфотографироваться в самом ценном экспонате музейного фонда Грузии – в треуголке Наполеона. Как и в Кобулети, очень удивились моему отказу, гид и директор музея заявили, что я нанес страшное оскорбление памяти великого полководца, сыгравшего выдающуюся роль в развитии туризма на Кавказе. Уплетая сациви в местной таверне, Гела предложил мне рассматривать изобилие шляп Наполеона в Грузии как гениальное изобретение комитета по туризму, который оперативно наладил серийное производство шляп императора к началу летнего сезона.

– Ежегодно эти шляпы приносят в бюджет республики вдвое больше доходов, чем виноделие и продажа чая вместе взятые, – резвился саксофонист, приглашая восхититься изобретательностью комитета по туризму.

– В музеях Варшавы, Москвы и Вены нет ни одной треуголки императора, – отвечал я. – Как сорок треуголок могло очутиться в Грузии? Их наверняка было больше. Это хорошо, что у грузинской моли нет авторитетов.

– В Грузии тридцать курортных зон, – не уступал Гела. – Каждой надо по шляпе? А сколько санаториев? Люди обожают сниматься в шляпе Наполеона, мы просто идем навстречу пожеланиям трудящихся и отдыхающих. Республике надо минимум 15 шляп в год. Грузинская моль обожает шляпы Наполеона, сжирает в год штук двадцать. Единственный музей в республике, где нет треуголки Наполеона – это музей Сталина. Там она неуместна.

Вечером мы выпили за самую демократичную моль в мире – за грузинский подвид. Гела упорно не хотел увидеть тему. Проклятый ресторан убил дар импровизации. Он находил логику в бреде – почему бы не заработать, впаривая поддельную историю, шляпы, картины, пистолеты.

На следующий день мы поехали в Хашеми. Естественно, я потянул Гелу в музей. Мы прямиком направились в зал, где под номером 14 была выставлена треуголка, но почему-то зеленого цвета. Я взял ее в руки и стал изучать подкладку.

– Что вы там ищете? – встревоженно спросил гид.

– Мы поспорили с другом, – ответил я. – Друг утверждает, что треуголки Наполеона выпускаются на тбилисской фабрике спорттоваров. Я считаю, что их шьют на кутаисской фабрике верхней одежды. А вот эту сшили в каком-то подпольном цеху. Вы не скажете, уважаемый, почему она зеленая. Наполеон служил в погранвойсках?

Из всех гидов, паразитирующих на треуголке императора, хашемский был самым изощренным. У гида была приветливая улыбка. Как ему казалось. Не сказать, чтобы улыбка открывала ослепительно белые зубы. Зубы были темно желтого цвета, да их и не было почти – так, развалины средневековой крепости. Перед нами стоял улыбчивый беззубый пьяница с минимум тридцатилетним стажем беспробудности. Гид принадлежал к международной касте гидов-лапшевиков. Он и не собирался скрывать это, явно гордясь своей ролью в обществе развесистой клюквы. Он сделал обиженное лицо.

– Насчет погранвойск получилось не совсем тактично, – я был само миролюбие.

Но у багрового толстяка раздулись щечки и глазки налились кровью.

– Когда Наполеон блатовал во Франции, – заявил он, – в Тбилиси не было еще

фабрики спорттоваров.

– Факты, уважаемый, против вас, – упрямо ответил я и помахал зеленой шляпой.

Гела уставился на картину «Утро на Казбеке» Айвазовского. Гид возмущенно посмотрел на саксофониста и перевел взгляд на меня.

Кожа на лице гида стала цвета корочки свежеприготовленного цыпленка-табака. Разгневанный цыпленок пытался подтянуть брюшко, но давно живущее самостоятельной жизнью брюшко не подчинилось. Колыхнулось разок-другой и вернулось на свое место. Я извлек из сумки бутылку «Сушени» и, протерев на глазах изумленного цыпленка дно бутылки знаменитой треуголкой, поставил ее на столик перед оцепеневшим краеведом.

– Выпьем за тех, кто не ждет от туристов ничего хорошего, – предложил я.

Гид с опаской посмотрел на нас.

– Мы с другом обожаем людей, которые не ждут от нас ничего хорошего.

– Я думаю, таких много, – сьехидничал багровый цыпленок.

За окном прошел летний дождь, всего три минуты. Влажный воздух выжидающе замер, его можно было, как сыр, запивать сухим красным. Я раскупорил бутылку и в воздухе запахло событием. Гела вздохнул и едва заметно кивнул головой, не возражая против того, что должно произойти.

– Не родился на свет еще такой Наполеон, – сказал он, – который помешает трем хорошим людям распить бутылку «Сушени».

С едва заметной дрожью в руке краевед разливает в стаканы вино.

– Всего в Грузию поступило девять шляп, – говорит он, – пять выставлено в музеях, четыре украли. Две украли в Поти, одну в Батуми, еще одна исчезла в Гудауте. Ее просто сожгли. Гудаутскую облил бензином и сжег директор сухумского музея. Между Гудаутой и Сухуми всего двадцать километров. Слишком мало даже для Наполеона, туристы смеялись. Директору дали пятнадцать суток и стоимость шляпы вычли из оклада.

– Во Франции его посадили бы на семь лет, – сказал Гела с уверенностью специалиста по уголовному праву. Гела прибавил за последние два дня. Роднички заросли, и малыш вполне прилично держал головку. Но чтобы пописать на сакральные игрушки – к такому был все еще не готов и считал кощунством.

– Я не считаю тебя джазменом, – сказал я другу.

Гела схватил стакан и осушил его одним глотком. Гид жил своей жизнью. Я с надеждой посмотрел на Гелу. Вот-вот он должен был включиться. Тем более, что гид был на загляденье.

– Вот я и говорю, шляп должно быть много, – назидательным тоном сказал гид. – Иначе я не смогу устроить дочку в консерваторию в Тбилиси. У моей Пикрии супер меццо-сопрано. Я уже своей Пикрии шикарный псевдоним придумал. – Поднял стакан с вином: – Выступает солистка Большого театра Медея Лордкипанидзе. Звучит?

– Не пойдет. В Большом Медей – как в Грузии эполет Багратиона и кинжалов мужей царицы Тамары, – категорично сказал я. – Предлагаю Эдиторина …..

– Пиафонидзе, – сказал Гела, – или Пиафисадзе. Хуже – Пиафишвили, а вот Пиафония совсем неплохо.

– Пиафишвили хорошо для областной филармонии, – я поддержал импровиз друга, а вот Пиафонию и Ла Скала возьмет. Чувствуется неповторимый букет Прованса и тонкое послевкусие «Ахашени».

Это было очень рискованно, гид мог проснуться. Я с надеждой посмотрел на саксофониста – еще шаг, и он должен уловить связь между зеленой треуголкой и солисткой Большого Эдиториной Пиафония. Гид ничего не понял, но на всякий случай побагровел еще больше, залпом осушил стакан и оглядел нас суровым взглядом.

Гела поспешно поднял тост за блестящую карьеру Пикрии-Медеи в Большом и в Ла Скала.

– У меня для вашего музея есть парадный мундир маршала Даву, – сказал я. – Между прочим, любимчик императора. Недорого, всего сорок рублей. – Знаете, почему так дешево? Легко достался, просто Даву во время московского пожара забыл мундир у себя в кабинете.

Цыпленок грустно посмотрел на быстро опустевшую бутылку.

– Очень плохо пошла трубка Сталина, – вздохнул гид. – У нас есть один сапожник, Кахи, отличный мастер. Заказал я ему перед сезоном сапоги императора Австрии Франца Иосифа. Тоже не пошли. Тогда я за 50 рублей купил две сабли, кинжалы и пару пистолетов начала 19-го века. Повесил на ковре, на табличке написал «Личное оружие князей Махарадзе, подарок Николая Второго». Никакой реакции. Знаешь, что спасло музей? Ни за что не поверишь.

– Поверю, – сказал я и достал вторую бутылку «Сушени».

Цыпленок чмокнул меня в щеку, подошел к книжному шкафу, достал восьмой том опусов Ленина, просунул руку и извлек початую бутылку коньяка. Теперь стало ясно, как он умудрился опьянеть от двух стаканов сухого вина. Гела заявил, что он больше не пьет, и мы послали его за сыром и помидорами.

– Знаешь, что кормит мою семью? – цыпленок подвел меня к шкафу, стоявшему рядом с книжным, открыл дверцу и с благоговейным видом поцеловал край белого платья. – Это подвенечный наряд царицы Тамары, – гид выпятил губы для второго поцелуя.

Я сделал глубокий вдох и бестактно чихнул.

– Пыль, – сказал я и чихнул еще раз.

Гид втянул губы и обиженно сказал:

– В этом платье царица наша венчалась с осетинским князем. Это был политический мезальянс.

– Весь Кавказ знает, царица была тонким стратегом, – вежливо сказал я.

Толстяк важно кивнул головой:

– Два года назад приезжает какой-то бюрократ из министерства культуры, подходит к ковру с саблями и кинжалами и приказывает: «Снять».«Пусть висит», – говорю я, – «у меня план горит». «Тогда», – говорит, – «уберите платье царицы». «Я лучше тебе горло перережу», – отвечаю ему. «Позор», – кричит бюрократ, – «в какой музей ни придешь, везде эти свадебные платья. Ты подумал, что о нашей царице скажут туристы? Царица выходила замуж по двадцать раз в году». «Кормилица думала о своем народе», – отвечаю я бюрократу. – «Не то, что эти», – и киваю на фотографию Брежнева и политбюро. Теперь жду, когда за мной придут.

– Мы успеем распить еще одну бутылочку «Сушени», – говорю я и достаю из сумки третью и последнюю бутылку.

– Конечно, успеем, – отвечает толстяк, – прошло уже два года.

Оказалось, под хорошо прожаренной корочкой цыпленка все эти годы пульсировала мысль о бренности бюрократов. Как и все гиды слабо посещаемых музеев, директор оказался существом кокетливым. Но именно благодаря багровому цыпленку

вернувшийся Гела почувствовал, наконец, игру. Быстро опьянев от смеси коньяка и «Сушени», цыпленок беззаботно чирикал про американских, немецких и французских туристов, умолявших его продать треуголку за сто тысяч долларов. Назвав цену, он бросил взгляд на Гелу, и лицо его исказилось гримасой ужаса. Еще мгновение, и из уголков рта Гелы должна была капнуть слюна. Перед цыпленком сидел классический идиот.

Насладившись произведенным эффектом, Гела расхохотался.

– Псих? – тихо спросил меня цыпленок.

– Ну почему сразу псих, – обиделся я. – Просто у товарища нет ничего святого. В Сухуми он сказал первому секретарю компартии Абхазии, что ему наплевать на все сорок шляп Наполеона. Первый заявил, что он заставит Гелу съесть все скатерти ресторана, где он играл по вечерам, затем барабан и палочки, и только затем засунет его саксофон ему в… Тогда Гела заявил, что он заставит первого секретаря сморкнуться в панталоны Наполеона, в которых он покорял Польшу. Представляете, как отреагируют в братской Польше? Отличный повод, чтобы разорвать отношения с СССР и сбежать в Европу. Брежнев порвет вас вместе с вашей дурацкой шляпой.

Цыпленок мгновенно протрезвел, никогда не думал, что страх до такой степени контролирует мозг и печень.

– Подзорную трубу Колумба не желаете? – спросил я. – Всего за тридцать рублей.

– Цена хорошая, а что я скажу в министерстве, как эта труба могла оказаться в Хашеми, – ответил цыпленок строптиво.

– Элементарно, – сказал Гела, – отец Колумба был торговцем шерстью, часто приплывал из Генуи в Поти за товаром. В Поти он и познакомился с будущей матерью Колумба Маргаритой Георгиевной Пипиния.

– В потийском порту ее все ласково звали Маргуша, – подыграл я другу. – Когда она перебралась в Геную, у нее остался в Поти родной брат, Гоги Пипиния. Вот у предков этого самого Гоги вы и приобрели подзорную трубу Колумба.

– В нашем деле главное – красивая легенда, – назидательным тоном сказал Гела.

Я схватил треуголку и замахнулся, желая испытать ее летные качества.

– Не трогайте экспонат, – взвизгнул цыпленок, – я покупаю трубу.

– Сам ты экспонат, – ответил я и нахлобучил сакральную шляпу на знойноголового цыпленка.

Из под треуголки злобно сверкнули глаза гида. От нас исходила угроза его уютному и удобному миру. Гид плакал от напряжения. Два типа, якобы музыканты, отняли его чудный уютный мир, надругались над забавным способом облапошивать людей. А ведь так было все красиво, сам Наполеон, оказывается, был создан для того, чтобы цыпленок из Хашеми мог за счет туристов пристроить свою дочь в консерваторию. Слезы напряжения текли по багровым щечкам. Это был настоящий джаз. Дюк мог гордится нами.

– Вы не можете уйти просто так, – угрожающе произнес наполеономан из Хашеми. – С этого момента вы мои гости.

– Нас ждет Боржоми, – Гела небрежно похлопал гида по плечу, – там в санатории Министерства торговли выставили золотое руно. Мы должны пописать на него.

Цыпленок шел за нами по улице и канючил:

– Ребята, ну почему вы мне не верите. Клянусь здоровьем детей, в этой шляпе

Наполеон вошел в Рим. В Италии он снял ее только однажды, перед Сикстинской Мадонной. За этой шляпой гоняется вся Италия. Любой итальянец даст за нее пять тысяч долларов.

Назойливо сверкая злобными глазками, цыпленок пытался пролезть в чужую игру.

Не останавливаясь, Гела бросил толстяку:

– Батоно, я еще не знаю, куда ведет нас сакс, да и контрабас пока не может найти свою тему.

Цыпленок остановился, как вкопанный, и на всякий случай послав нам вдогонку какое-то дежурное проклятие, отстал и повернул обратно.

...Мы с Гелой идем по городскому скверу, по улочкам с меланхолическими фасадами, кушаем мороженое под чинарой, наслаждаясь нежностью летнего зноя, запечатлевая ритмы, оттенки городка. Гела пытается вмонтировать в мелодию зноя бронзовоголового цыпленка, меня, протирающего дно бутылки треуголкой Наполеона, порхающих по залу семьсот цариц Тамар, улыбающихся семистам осетинским князькам....

Скоро, скоро сочиненная композиция взорвет тишину курорта и заодно унизит подражателей великого Дюка оригинальной импровизацией.

– Мы раздавим твоих врагов в тбилисском джаз-клубе, – сказал я другу, – всех, кто говорит: Гела – не импровизатор. И золотое сердечко, покрытое эмалью из слез, упадет из медальона девушки по имени Хашеми.

– Аминь, – с непринужденной самоуверенностью мага сказал Гела.

Мы страстно ждали события. Лично я согласен был даже на летний дождь, конечно, с громом и молнией... Но произошло нечто более конкретное.

Мы едем в Поти.

– Ночью идем грабить музей, – сказал я саксофонисту. – Наш долг – надругаться над французской национальной святыней, осквернить экспонат номер 14.

– Не пойду, – с наигранной строптивостью отвечал Гела. – Вдруг именно в Поти шляпа настоящая.

– Ты видел, с каким восторгом дети смотрят на эту тряпку? – спросил я.

– Шантаж, – упрямо ответил саксофонист.

Гела не шутил. Летний дождь с громом и молнией отменялся. Должно было произойти чудо.

Самое забавное, что мы даже не пошли на разведку. Этого не могло быть, чтобы в городе-курорте, да еще в разгар сезона, и нет шляпы великого корсиканца.

Вечером мы идем на концерт. Неизвестно как забредшие в 1982 году, в разгар застоя, в Поти американские джазмены исполняли Дюка.

Гела был потрясен.

– Как эти негры могли оказаться в Поти?

– Как Наполеон умудрился подарить Грузии сорок треуголок, – ответил я. – Было бы странно, если бы именно сегодня, когда мы приехали в Поти, здесь не играл бы американский джаз-банд.

На контрабасе играл лоснящийся негр с губами как у обиженного на всю Сахару верблюда. Закатив глаза, певец старательно работал под эллингтоновского вокалиста Нелла Брукшайра. Все это не внушало надежды.

Музыканты ждали пианиста, он неторопливо вошел в обрушившийся восторгом зал. Раскланялся и сел за инструмент. Зал мгновенно смолк. Любуясь своими паль-

цами, с ухмылкой на губах, пианист вслушивался в тишину зала, в тишину великих ожиданий.

«Только бы он не подвел, – думал я о пианисте. – Ребята, не подкачайте, без вас Гела ни за что не пойдет грабить музей и не надругается над святыней».

Пальцы ударили по клавишам, и мгновенно рев зала привел в движение люстру, напоминающую громадных размеров напудренный парик мадам Помпадур.

Люстра угрожающе зазвенела, мечтая вонзиться в неистовствующую под ней толпу.

Зал плевать хотел на раскачивающуюся над ним бомбу.

Сакс бушевал, настаивая на дюковской максиме: жить имеет смысл только под не на шутку расшалившейся люстрой.

Гела извивался в своем кресле, словно боролся с удушьем или пытался взлететь. Я дотронулся до его лба и отдернул руку. Это должно было произойти именно сегодня.

– Слащаво, – крикнул я Геле в ухо. – Этот салонный ритм энд блюз в кишках сидит.

Я убедился, что он ничего не слышал. Гела, блаженно закатив глаза, с улыбкой на губах плыл по волнам пятого мирового океана.

– Дюк, Дюк, – стенали потийские меломаны, плывущие за Гелой.

Под аккомпанемент оркестра два негра запели «Oh the sunny side of the Street». Пианист – фантастический стилист, творил такие пьесы, что сыграть их, кажется, можно было только предварительно рассеяв клавиши в беспорядке. Его арпеджио проносится с невероятной скоростью по клавиатуре, поднимается в воздух, заворачивается спиралью.

То, что творилось в зале, нельзя было назвать коллективным трансом. Стоявшие в проходе милиционеры плыли вслед за толпой. В зале все были гении. Приступ гениальности вот-вот накатит и накроет последнего из курортных бездельников. Все открытия впереди. Если электрон, как выяснилось, движется по всем направлениям одновременно, наплевав на ядро, вокруг которого он должен вращаться, то что говорить об эйсид-джазе, фри-джазе и джаз-арте. Не говоря уже о тейбл-джазе.

Это был прорыв за пределы советской, грузинской, кавказской, черноморской, европейской, евроазиатской и прочих ментальностей, виртуальностей и всякой такой чуши.

Это был мир, в котором на подкладках треуголок Наполеона в Кобулети, Париже и Хашеми затаились волосы с гениальной головы уроженца корсиканского городка с ласковым названием Аяччо. Города-побратима Очамчира. Правда, никто не знает этого ни в Аяччо, ни в Очамчира, кроме тамошнего гида.

Мир, в котором семьсот цариц-кормилиц, думая о всех гидах и директорах музеев курортных городков, изменяли семистам осетинским князькам с семи сотнями князей Кабарды, Балкарии и Адыгеи. Прямо на балу в честь бракосочетания коронованных особ, в специально отведенных для измен будуарах. Мир, в котором треуголки, кинжалы и эполеты звали в никому не нужные походы. Где дотронуться до клинка полководца из славного рода князей Махарадзе значило очутиться в машине времени, в которой Гамлет, принц датский, обнимался с первой красавицей двора короля-Солнце, и оба кричали на Эйнштейна: «Куда прешь, болван, не видишь, занято».

Концерт кончился, я с трудом оторвал руки Гелы от подлокотников. Сотни

людей, опираясь друг на друга, медленно продвигались к дверям, за которыми их ждала обессмысленная реальность. Толпа жаждала продолжения банкета. Гела вышел последним и долго смотрел на звезды, не приемля их альдебаранье высокомерие. Действительно, звезды были смешны. За каким хреном вас открывать и осваивать, если Дюк жил на земле? Кто сказал, что звезды интересней Дюка? Гелу осторожно обходили, с пониманием глядя на заблудившегося во времени. Невозвращенец Гела напоминал кролика, обожравшегося с голодухи корой старого дуба. Кролик с ужасом прислушивался к тому, что вытворяла кора дуба с его нежным желудком. Жить кролику оставалось от силы пять минут.

– Дюк, помоги, – взмолился я. – Гела талант, просто ему взбрело в голову стать нормальным человеком. Каждому музыканту надо пройти через это, чтобы ужаснуться и стать гением. Прости его, Дюк.

– Концерт так себе, – сказал я умирающему кролику. – Играли – руки по швам. Этот мелодраматичный фальцет в стиле Эдди Хендрикса из The Temptations... У себя они такого не позволили бы никогда. Нет больше на свете чистого Дюка.

– Шарап, – услышал я в ответ.

Гела происходил из древнего грузинского рода, у них в доме уже в 1982 году вместо «заткнись» употреблялось «шарап».

– Отлично, – вежливо так отвечаю. – Завтра же передам Этери Владимировне, как ты обращаешься с друзьями.

– У мамы гипертония, и ты это знаешь, – Гела схватил меня за руку, и спустя десять минут я понял, что Дюк услышал меня. Мы стояли перед музеем. Гела выдавил рукой стекло и залез первым. Впрочем, я не ревновал. Треуголка была единственным предметом, на который падал лунный свет.

– Знамение, – произнес Гела, он обожал мистификации.

– Знамение – Дюк в Поти, – сказал я. – А это просто знак.

Достаю перочиный нож и распарываю треуголку на две части.

– Кончай его, – говорю другу и протягиваю ему ножик.

Гела с удовольствием вонзает лезвие в оскверненную реликвию родины трех революций. На клочке бумаги я написал: «Бывшая треуголка Наполеона. Экспонат № 14, изготовлена в 1965 году на тбилисской фабрике спорттоваров имени...»

– Гела, а кто у вас самый известный революционер, кроме Сталина?

– Отстань, – Гела увлеченно кромсает треуголку.

– Предлагаю имени Славы Метревели.

– Слава – отличный футболист, – с обидой за национальную гордость произнес Гела. – Напиши имени Мичико Колхадзе.

Мичико – приятель Гелы, ударник из ансамбля «Ореро».

Событие произошло, и его надо было отметить. В ресторане гостиницы мы купили бутылку «Вазисибуни» и поднялись к себе в номер.

– Ты поставил Поти, всю республику в идиотское положение, – с наслаждением затянувшись сигаретой, сказал Гела.

– Мы ее поставили в идиотское положение, – возразил я, – так что загремим по статье «коллективное надругательство над святынями». Гела, а вдруг мы изуродовали подлинник?

– У тебя не получится испортить отличный вечер, – сказал Гела.

Я не услышал в голосе друга ничего, кроме желания прикончить бутылочку. Гела чувствовал себя победителем и не принимал других мнений. Сегодня был день

его и Дюка.

– Ну, а вдруг на подкладке этой самой шляпы, – доставая взятый из музея лоскуток, спрашиваю, – есть волос императора? Если эта шляпа последняя, с острова святой Елены, то можно было определить причину смерти Наполеона. Но теперь... распоротая тобой шляпа навсегда скрыла причину смерти гения.

– Не понял, – обеспокоился Гела.

– Есть версия, что англичане отравили императора на острове святой Елены мышьяком, который откладывается в волосах. Во избежание международного скандала французы и сплавили все треуголки сюда, в Грузию.

– Волос с моего пупка не устроит Францию? – Гела молча выдергивает пару волос и прикладывает к лоскутку. – Завтра отнесем в музей.

Саксофонист вливает в себя стакан вина, выключает телик и ложится в кровать. Он так переполнен Дюком, что и традиционная сигарета перед сном не нужна.

– Гела, должен сказать тебе всю правду, – говорю я. – Дело в том, что Нелла Брукшайра, биг-бенд Дюка и вокалиста Тони Уоткинса я слышал в Питере, в джазменовском кафе «Белые ночи». А эти, сегодняшние... просто террористы. Они ворвались в райский сад Дюка, поломали скамейки, вытоптали цветы….

– Я же говорю, – воскликнул Гела. – Мы, грузины, нация джазменов. Я сразу почувствовал, куда-то не туда ведут, но тоже очень интересно, – упрямо добавил он.

Утром мы идем в музей, и директор музея торжественно сообщает посетителям о совершенном ночью акте вандализма. Какие-то негодяи надругались над уникальным экспонатом, ради которого СССР посещают два миллиона иностранцев в год. Известие об этом акте вандализма быстро облетело городок, и в музее было полно народу. Все с интересом разглядывали кусочки-лоскуточки когда-то бесценного экспоната.

– Варвары, – причитал директор, – уничтожить единственную в Советском Союзе шляпу Наполеона. Благодаря ей ежегодно Грузию посещало не менее полумиллиона интуристов.

Директор, сделав глубокий вдох, надолго вперился в пол, призывая посетителей музея почтить минутой молчания память великого экспоната.

В свой ресторан Гела больше не вернулся и до сих пор влачит жалкое существование гениального саксофониста. Что я считаю моим личным вкладом в мировое рок-движение. Этери Владимировна, блистательная участница карнавальных семидесятых и светлая муза папы Мичико Колхадзе, когда-то лучшего бас-гитариста Тбилиси, очень гордится своим талантливым и стабильно бедным сыном. Собой – не менее. Не хочется огорчать старушку, но я лично после той истории в генетику не верю. Прав был великий мастер джазовых провокаций Сосо Джугашвили – лженаука.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН» ЗА 2017 ГОД

МОЛЛА ПАНАХ ВАГИФ – 300

Адыгезалов Гусейн. Новаторская поэзия М.П.Вагифа. №7
Молла Панах Вагиф. Стихи № 12

СЛОВО ИЗРАИЛЮ №4
(Номер посвящен Израильскому отделению Союза Писателей Азербайджана)

«Задача — интенсифицировать литературные и творческие связи между Израилем и Азербайджаном»
Аграновский Александр. Стихи.
Амнуэль Павел. Литература, создающая миры. Рассказы.
Горин Марк. ВГИК. Как это было… ВГИКовские байки.
Гринфельд Таня. Стихи.
Гуревич Роман. Рассказы и миниатюры.
Люкимсон Петр. Уборка мусора. Повесть.
Шлеймович Эмиль. Стихи.

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО №5

Абдуллаев Чингиз. Евгений Евтушенко – человек-эпоха.
Мамедзаде Сиявуш. Стихи.
Шарифов Эльдар. Между городом Да и городом Нет.

ПРОЗА

Абрамов Ефим. Рассказы. № 7
Агамамедова Гюлюш. № 3
Али Таир. Мирза Халил и Человек дождя. Повесть. № 7
Аля Аль-Асуани. Рассказы. Пер. Сарали Гинцбург. №1
Амнуель Инна. Рассказы. №7
Афсароглу Кямиль. Любимая. Рассказ. Пер. Мустафаевой Егяны. №5
Ахмедов Эльхан. Дневник узника. № 6
Бабаев Акшин. Тупик. Повесть. Пер. Айтен Акшин. № 8
Багирова Ляман. Новеллы. №3, 9
Багирова Наргиз. Рассказы. № 8
Бадалов Тамирлан. Bear по-нашему – Бесхвостая. №9

Борода Моисей. Слон и моська. Рассказ. №9
Буньяд Рашад. Если птицы вернулись… Рассказ. Пер. Мамедова Ниджата. № 11
Гасан-заде Аликямал. Этюды. №4
Гасымов Джавид. Назидательные истории. №10
Гаузер Эрик. Рассказы. №11
Гашимов Рафик. Рассказы. Пер. Саидова Али. №2
Гусейнов Ариф. Записки пунктиром. №12
Гусейнов Парвиз. Записки кукольного мастера. Эссе. №2
Джумазаде Валентин. Рассказы. № 11
Zaur. Однажды в Риме. Альтернативная история. №9
Ибрагимбеков Мурад. Как Ленин закрывал двери в синагоге. Рассказ. №5
Касумова Елизавета. Кошка на бортике бассейна. Рассказ. №6; Медленный танец под Сальваторе Адамо. Рассказ. № 9
Леклезио Жан-Мари. Дерево яма. Пер. Агамамедовой Гюлюш. №10
Мамедли Натиг. Формула чести. Рассказ. Пер. Саидова Али. №4
Манафов Ширин. Юморески. № 6, 12
Мираламов Гусейнбала. Завещание. Пьеса. Пер.Мамедова Ниджата. № 7
Мурсалова Марина. Хорузмеи, или вполне реальная история. Рассказ. № 8
Орен Мубариз. Рассказы. Пер.Мамедова Ниджата. № 7
Расулзаде Натиг. Девушка в красном, дай нам, несчастным! Рассказ. №1; Мы всем здесь надоели. Неудачный день. Рассказы. №5; Псих. Ночная прогулка. Рассказы. № 10
Ревва Игорь. Секретный рецепт. Рассказ. №6
Рустамли Татьяна. Пусть всегда буду я! №3
Сапрыкин Алексей. Рассказы. №2; Бывает… Рассказ. №9
Сараева Басира. Хорошая женщина. Рассказ. №3
Сахавет Сейран. Мир дому твоему, или Завещание. Пер.Октая Мир-Касыма. № 12
Смирнов Михаил. Рассказы. №9
Степанов Евгений. Миниатюры. №5
Таги Рафик. Рассказы. Пер.Халиловой Натаван. № 12
Тагиев Айдын. Маленькие рассказы. Пер. Мамедзаде Сиявуша. №5
Тофиггызы Гюльшан. Рассказы. №6; Эссе и рассказы. №10
Хакимов Александр. Сердце писателя. №5
Чеменли Мустафа. Мубариз. Документальная повесть. Пер. Азизовой Эльшады. №2
Шафиев Марат. Дырявая корзина, полная света. № 8
Эльчин. Голова. Роман. Перевод Азера Мустафа-заде. №№1, 2

ПОЭЗИЯ

Агаев Тофик. Стихи для детей. №1, 9
Андреева Елена. Стихи. № 12
Ариф Кенуль. Стихи. Пер. Мамедова Ниджата. №7
Багирова Ляман. Стихи. №3, Венок сонетов. № 12
Баннаева Наиля. Стихи. №2
Бруштейн Ян. Стихи. №9
Габиль. Стихи. Пер. Мамедзаде Сиявуша. №10

Гахраманлы Ильхам. Стихи. Пер. Талыбовой Алины. №9
Гусейн Фарид. Стихи. Пер. Мамедова Ниджата. №4
Джавад Худаверди. Стихи. №10
Зал Эльхан. Полонез. Поэма. Пер. Мамедзаде Сиявуша. №11
Зарубин Владимир. Стихи. №9
Зейналлы Ирина. Стихи. №3
Имамалиев Ибрагим. Стихи. №1, 9
Ихалайнен Юрке.К Стихи. Пер.Джафаровой Таиры. №8
Каракмазли Динара. Стихи. №5
Касумова Елизавета. Стихи. № 6, 7, 8, 9
Качанова Ольга. Стихи. №9
Керимова Садагят. Стихи. Пер. Баннаевой Наили. №11
Керимли Ханали. Стихи. Пер. Мамедова Ниджата. №5
Клычкова Лала. Стихи. №10
Курбанова Лейла. Стихи. №6
Ловкова Инесса. Стихи. №3,9
Меликов Экрам. Стихи. №11
Мамедзаде Сиявуш. Стихи. № 6, 7, 12
Мехтиев Заур. Стихи. №1
Мякяля Ханну. Стихи. Пер.Джафаровой Таиры. №8
Натаван Хуршудбану. Стихи. № 12
Надир Наиля. Стихи. №7
Рогачева Ольга. Стихи. №7
Салаев Генадий. Стихи. №9
Сиххат Аббас. Голос из Шамахинской плеяды. Пер. Мамедзаде Сиявуша. №10
Скородумова Юлия. Стихи. №6
Талыбова Алина. Стихи. №4
Хаукио Енни. Стихи. Пер.Джафаровой Таиры. №8
Химирский Красин. Стихи. Пер. Серебрякова Г., Литвиненко С., Дымовой Л. и т.д. №2
Шафиев Марат. Иронические миниатюры. №2
Шемокмедели Давид. Стихи. Пер. Талыбовой Алины. №11
Шиляева Виктория. Стихи. №5
Эфенди Азер. Стихи. №10
Эфендиева Валентина. Стихи. №5

ПУБЛИЦИСТИКА

Абдуллаев Чингиз. Немного ностальгии, много таланта и капелька грусти. №6
Агаев Эмиль. Хорошо зимой на даче. №1; Очерки. №5. Как я оказался однажды Дедом Морозом (Новогодняя быль). № 12
Агамамедова Гюлюш. Имитация фасада. №1; Взаимовлияние французской и азербайджанской культур. №6; Искусственный мир. Эссе. Париж… Путевой этюд. №10
Акшин Айтен. Голос сердца. №1
Багирова Ляман. Я люблю. №10
Бакиханов Тофик. Человек-оркестр в творчестве и жизни. №4

Баннаева Наиля. «Древо жизни» в жизни современника. №3
Верховский Марк. Вторая встреча с «Первым». Очерк. №5
Габиббейли Иса. Эйнали-бек Султанов. Пер. Халиловой Натаван. №6
Гаджиева Вафа. Коран, коранические сказания.. Памяти Маиса Гаджиева. №9
Гази Вахид. Фильм «Ад». Пер. Мамедова Ниджата. №2
Гасанова Лала. Во благо отечества – жизненный пример Наримана Нариманова. №5
Гришашвили Иосиф. Ашуги. Пер. Тархнишвили Н. №11
Джавад Худаверди. Доброта, навеки запечатлевшаяся в моей памяти. №10
Джафарова Таира. Встречи с Финляндией. №8
Джафаров Тарлан. Уильям Шекспир и Мирза Алекпер Сабир. №2
Зац Леонид. По городам и весям. №7
Ибрагимов Мирза. Творец философского мышления Гейдар Гусейнов. №10
Исмаилоглу Атабала. Вторым планом. Пер. Шарифовой Джамили. №8
Канапьянов Бахытжан. Арсений Тарковский. № 12
Касумова Елизавета. Исцеление музыкой. №3
Мамедов Юрий. Искал в пыли веков он золото семян. №5
Мамедов Низами, Мещерина Елена. Феномен Муслима Магомаева. №8
Рустамзаде Айтен. Идеи гуманизма в поэзии Кайсына Кулиева. №11
Самедоглу Вагиф. Слово другу. №11
Талыбова Алина. Елена Пастернак: «Средь круговращенья земного…» №8; О братьях меньших. №9; Вспоминая поэта. №11
Теер Елена. Произведения Самеда Вургуна на русском языке. №3
Фаиггызы Натаван. Ресурс духовности. №3
Фейзуллаева Аида. Русский декаданс. №3
Хакимов Александр. Качели бессмертия. Эссе. № 12
Шафиев Марат. Размышления о поэме Физули… №9; (Не)Состоявшееся; «Благодарю тебя – я жил!» №11
Шукюров Агагусейн. О судьбе казахских представителей Первого тюркологического съезда. Пер. Халиловой Натаван. №5